Оправдание

Автор:
Дмитрий Быков

Оправдание

Дмитрий Львович Быков

Быков.ВсёО-трилогия #1

В романе «Оправдание» Быков предлагает свою версию генерального плана сталинских репрессий: тех, кто не погиб, выдержал, не оговорил ни себя, ни других, ковали для особой миссии. Главный герой, внук репрессированного, в середине 90-х отправляется на поиски следов деда. Его расследование превращается в напряженный фантастический детектив с неожиданной, страшной развязкой.

«Оправдание» – первый роман «О-трилогии».

Дмитрий Быков

Оправдание

© Быков Д.Л.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Памяти Нонны Слепаковой

К 1938 году в НКВД скопился материал, достаточный для того, чтобы арестовать все население СССР.

Р. Конквест

Холод – это наша есть жизнь. Надо сознательно искать холодное и плохое и им огородиться. Вот тогда-то и будут силы твои, ты будешь Победитель Природы.

Как хорошее и теплое умирало, так умирает и будет умирать до тех пор, пока не возьмутся люди за врага и не дадут ему сокрушительный отпор. Это сделает все холодное и плохое.

Желаю тебе счастья, здоровья хорошего.

Порфирий Иванов

Я вам скажу, только вы на меня не сердитесь: я очень люблю царственную пышность.

Тэффи

1

Доцента Московской сельскохозяйственной академии Ивана Антоновича Скалдина взяли в декабре тридцать восьмого года по известному «михайловскому делу». Сам Михайлов успел умереть за неделю до того, как начали арестовывать всю его школу. Жизнь – а точнее, смерть – спас ему как раз Скалдин: огромного роста, сильный, редко в чем сомневающийся, он пришел на квартиру к учителю и застал его в прискорбном состоянии. Не смевшая возразить семья жалась по углам: старик был крут. Врач из скорой настаивал на госпитализации, но семидесятилетний академик прогнал его. О больнице он не желал слышать. Его отец, дед, прадед – все померли дома и не снисходили до

того, чтобы обманывать судьбу. Скалдин, недолго думая, вызвал карету скорой помощи, подхватил слабо отбивавшегося академика на руки (если б не уважение к основателю школы, он бы вовсе перекинул его через плечо) и так снес в машину. Старик под конец, покорясь чужой и доброжелательной воле, испытал даже облегчение и поверил было, что выкарабкается. Но врачи скорой не знали, где больница Академии наук, и повезли туда, куда было ближе. Пока Скалдин созванивался с лечащим врачом академика, пока больного перекладывали из машины в коридор, из коридора снова в машину, пока довезли до отдельной палаты – ноябрьский ледяной ветер его продул, и к вечеру другого дня Михайлов после короткой агонии умер. Дочь его проклинала Скалдина, кричала, что дома и стены свои и он, может, был бы жив, что он не перенес волнения, – и сам Скалдин себя жестоко корил, хотя на гражданской панихиде в академии его и назвали наследником михайловского дела. Но слова «михайловское дело» имели уже другой смысл, и в первых числах декабря старика пришли брать. Опухшая от слез жена и насмерть перепуганная дочь объяснили приехавшим, что Михайлова уже взяли, и трое – один стертый и вежливый, двое мордатых – отбыли то ли в некотором разочаровании, то ли в испуге. Впервые на их глазах неподконтрольная сила так явно вмешивалась в судьбу жертвы.

А Скалдина взяли пятого декабря, в день новой конституции, потому что ни праздников, ни выходных в НКВД теперь не было. Он не испугался и ни на секунду не усомнился в том, что будет выпущен. У него, как и у Михайлова, остались на воле жена и дочь, и во время обыска он успокаивал их как только мог. В то, что дело его разъяснится, он верил, пока сознавал себя, потому что слишком уж странные вещи ему предъявляли в качестве доказательств вины и слишком мало понимал следователь в том, чем они в академии вообще занимались. На обыске у него нашли опытные семена и предъявили как доказательство хищения народной собственности. Когда же он, не переставая широко улыбаться, рассказал следователю, что и дома продолжал работать, изучая и проращивая образцы, что так делали все, что они спешили к годовщине конституции рапортовать о новом сорте, следователь решил, что семена он брал для передачи иностранным агентам. Скалдин весело расхохотался и сказал, что ни одного агента он никогда не видел, работа еще только в завершающей стадии и довести ее до ума мог один Михайлов, а после Михайлова только он. За границей же, насколько ему известно, таких специалистов нет. Поняв, что Скалдину что-то известно о загранице, следователь разъярился окончательно и в первый раз ударил его кулаком в зубы.

Ивана Антоновича никто никогда не бил, разве что в детстве, когда он и сам дрался очень часто. При его богатырском сложении, а главное, добродушном

характере врагов у него не было, и он так дружелюбно, естественно ставил себя с людьми, что и завистников не нажил. Он убежден был, что работает на благо Родины, что лучше его страны нет на свете и что издеваться над людьми здесь не будет никто и никогда. Слухи, доходившие о том, что делали с исчезнувшими коллегами и соседями, он считал недостоверными. Поколебать Ивана Антоновича в его вере было невозможно. Следователь не встречал еще таких людей и потому совершенно не ожидал, что Скалдин в ответ набросится на него и начнет колотить со всей крестьянской мочи. Хотя крестьянином был только его дед, а уже отец выбился в люди и выучился на агронома, но сила и упрямство были у них в роду, и за это Михайлов, сам из рода поволжских крестьян, Скалдина выделял особо.

Ивана Антоновича, конечно, за такое убили бы сразу, но он нужен был для большого сельскохозяйственного процесса, на котором объяснились бы все неурожаи и голод начиная чуть ли не с двадцать второго года. Сходные процессы бывали, но задумывался главный спектакль, и потому каждый специалист с именем был на счету. Следователь успел нажать кнопку. Скалдина с того допроса держали в наручниках, не давали спать, ставили в клетку с гвоздями и вообще подвергали пыткам такой тяжести, что и сами не понимали, на чем он держится. Держался он на своем крестьянском характере, добродушии и искренней вере, что все разъяснится. Пока ему не сломали правую руку, он писал бесконечные письма, в которых подробно, доступно, доброжелательно раскрывал суть своих и михайловских опытов. В результате чудовищного недоразумения ценный работник был выключен из важного дела, и дело могло теперь – нет, не погибнуть, конечно, незаменимых нет, и к тем же выводам непременно придут другие, но это случится позже, а ведь дорог каждый день. Их пшеница сулила Родине возрастание урожайности по меньшей мере в полтора раза, причем климатически была приспособлена к суровым условиям русского Севера, – письма его походили на популярные брошюры, такие же ясные и благожелательные, и следователь читал их с интересом, не переставая, однако, недоумевать: что ж он, и в самом деле ничего не понял? Следователь тоже не понимал главного, он не догадывался о цели, да и запретил себе о ней думать, но некоторые детали генерального плана уже были ему ясны – и прежде всего он сообразил (хоть и не сразу), что если кто к ним попался, то обратного хода нет. А Скалдин все не понимал, и это одно давало ему силы писать свои письма, которые страшно раздражали следователя. Только поэтому ему и сломали правую руку. Обычно ее берегли, чтобы хоть осталось чем подписываться, но Скалдин уж очень достал органы дознания своей доброжелательностью и страстью все объяснить. Не барин, в случае чего накалякает левой. Каллиграфии не требуется.

Однако даже потом, со сломанной рукой и отбитыми почками, он не желал сотрудничать со следствием, то есть оговаривать себя. И когда ему пригрозили, что возьмут жену, он опять не понял, потому что жене было двадцать два года, а дочери на двадцать лет меньше, и он представить себе не мог, чтобы в его стране были возможны такие фашистские методы дознания. С тем, что такое творили с ним, он смирился – похоже, кто-то ввел людей в ужасное заблуждение. Но он-то был здоровый тридцатилетний мужчина, а с женщинами, даже в заблуждении, ничего такого делать нельзя. В его стране не было людей, которые могли бы делать такое с женщинами. И он засмеялся.

Он смеялся и тогда, когда ему дали почитать показания ближайшего его друга, тоже михайловского ученика (в их группе не было зависти, старых и молодых объединяло дело, и все признавали скалдинское первенство среди равных). Показали ему и самого друга. У того пол-лица занимал багровый кровоподтек, и он еле слышно повторил, что Скалдин в разговорах вечно сетовал – вот, мол, приходится работать на советскую власть, а в Германии, например, их труд оценили бы совсем иначе. И Скалдин смеялся, и смеялся после, когда ему опять не давали спать, и через неделю следователь понял, что он теперь всегда будет смеяться. Он забыл свое имя, забыл все. Следователь знал по опыту, что такие очень долго не гнутся, а потом ломаются в одночасье, но тогда от них уже никакого толку. О том, чтобы вывести Скалдина на процесс, и речи не было. Можно было попробовать привести к нему жену – вдруг идиот очухается, перепугается, – но санкции не давали, и вообще интерес к «михайловскому делу» с апреля почему-то заглох. Такие вещи происходили непредсказуемо. Заинтересовались военными, и агрономы отпали – отработанных, их пустили под трибунал без публичного процесса.

Случись иначе, жену Скалдина Марину, скорее всего, действительно взяли бы, тем более что происхождение ее было двусмысленное, интеллигентское – она была дочерью учителя гимназии, взятого в заложники после убийства Урицкого в восемнадцатом году и расстрелянного через две недели. Ей было тогда два с половиной года, и она ничего не помнила, но атмосферу безнадежности, поселившуюся с тех пор в доме, впитала навсегда. Поэтому и ареста мужа Марина ждала с самого начала, еще когда у нее на работе (она печатала на машинке в той же академии, и там ее полюбил Скалдин) взяли старшую машинистку. Это была строгая, суровая женщина, всегда отчитывавшая девушек, если они в погоне за нормой делали слишком большие поля или раньше времени выкручивали из каретки лист, в котором вполне хватило бы

места еще на две строчки, а ведь в стране и до сих пор не хватало хорошей бумаги (Марине по ее добросовестности попадало за другое: она допечатывала лист до самой кромки). Марина знала таких женщин – они не могли быть замешаны ни в чем преступном. Говорили, что старшая машинистка передавала врагам какие-то данные, к которым имела доступ по работе, и девочки шептались, что грымзе так и надо, но Марина помнила, как начальница отпустила ее с работы, когда у нее на втором месяце закружилась голова, и как она уважала Скалдина, и главное – она даже под пыткой никогда и ничего не передала бы врагам. И с того самого момента, как Наталью Семеновну взяли, она уже ничего хорошего не ждала.

Кстати, тогда же выяснилось, что старуха вовсе и не старуха, что ей сорок восемь лет и что вместе с ней живет племянник, сын ее умершей от рака сестры. Племяннику было шестнадцать лет, она никогда не приводила его на работу и ни словом о нем не проговаривалась, не желая, видимо, приоткрывать свою жизнь перед подчиненными, и объявился он впервые только через месяц после того, как ее взяли. Это было в тридцать седьмом, когда нескольких человек вдруг выпустили, и тогда женщина, бывшая в камере с ней и вышедшая на волю, этого племянника по просьбе Натальи Семеновны нашла. Она передала ему, что Наталью Семеновну оговорили, что если вступятся коллеги, то ее, может быть, отпустят и что все это только ужасное недоразумение. Племянник оказался хромоножкой, у него была родовая травма: сестра Натальи Семеновны была партийный работник, много ездила, долго недоедала и потому рожала трудно. Еще у него после шока, вызванного арестом тетки, немного подергивалось лицо, словно он пытался стряхнуть с него выражение униженности и мольбы, с которым пришел за нее просить. Он зашел в машбюро, пытался добраться и до какого-то начальства и всех уверял, что им стоит пойти к следователю – и Наталью Семеновну освободят, надо только добиться, чтобы их выслушали. Ему обязательно надо было, чтобы коллеги подтвердили ее невиновность, ведь все они хорошо ее знали, и все кивали в ответ, а девочки-машинистки даже напоили его сладким чаем (новая старшая машинистка Клавдия Степановна была добрая, не то что грымза), и все обещали пойти поговорить, но никто, конечно, не пошел. Марина некоторое время казнилась, но она с самого начала понимала, что ходить никуда не надо, потому что выбор сделан и заместить жертву нельзя, это такой закон. Наталья Семеновна обладала какими-то чертами, за которые надо было взять именно ее, она была уместна в этой жизни и годилась ей в пищу. Тем не менее Марина ласково поговорила с мальчиком, который, кажется, ее не слышал, и рассказала ему про крошечную дочь, словно подсознательно оправдываясь, почему никуда не пойдет (впрочем, тут же оборвала себя, потому что нехорошо было рассказывать про свою семью бедному хромоножке, у

которого никого не было), и даже дала свой телефон – на случай какой-нибудь нужды, и сунула денег. Деньги мальчик взял, страшно краснея и подергиваясь лицом, – ему, видно, приходилось совсем туго, – но не позвонил ни разу. Что случилось с Натальей Семеновной, Марина так и не узнала, и мальчик тоже никогда уже не появился.

Марина не знала и никто не знал, что шестнадцатилетний хромой мальчик действительно пытался пробиться на прием к следователю, потому что одна его одноклассница, самая красивая девочка в школе, Вика Султанова, такого приема добилась и ходила, говорят, к самому наркому. Нарком ее выслушал, тоже напоил чаем и переправил к своему заместителю, а заместитель затребовал дело, и вскоре ее отец – директор мебельной фабрики – был на свободе. Правда, на фабрику он не вернулся, а уехал к родителям в Брянск и увез туда же всю семью, и никто в школе больше не видел Вику Султанову. Но пересказывали про ее удачу часто и говорили даже, что замнаркома, погладив ее по голове, сказал, что вот если бы у всех были такие дочери, то меньше было бы судебных ошибок, из-за которых враги очерняют органы. И мальчик стал добиваться, чтобы его пустили к следователю, – но он был один и, конечно, ничего не добился. Он отстаивал очереди, у него брали передачи, но ничего не говорили. И в очереди его не любили, потому что он дергался лицом и загнанно косился.

Из школы он ушел: денег в доме не было, как не было и никакой родни. Он устроился грузчиком на ту самую мебельную фабрику, директор которой уехал в Брянск, и его взяли на работу, хотя по возрасту и положению он не имел на нее никакого права. Тогда он понял, что единственный способ помочь тетке – это оказаться рядом с ней, то есть быть арестованным как ее пособник и открыть следователям глаза, и он пошел в главную приемную на Лубянке и заявил, что был теткиным сообщником. Вот тогда его наконец и взяли, но Марина ничего этого не знала.

Она не знала и того, зачем всех берут, но чувствовала только, что так надо, что это органическим образом вытекает из самого порядка вещей. Она все-таки была дочь гимназического учителя словесности и, хотя совсем не помнила его, с рождения усвоила чувство гармонической цельности мира, его подчиненности художественным законам. И мир, в котором она со Скалдиным жила, в котором он катал ее в лодке по Москве-реке, угощал шоколадом и рассказывал о великих планах по преобразованию почв, предполагал и изнанку, страшный черный подвал, куда время от времени по случайному, но безошибочному выбору сволакивали всех этих только что веселившихся, а теперь навеки выселившихся

людей. Никакого разумного обоснования у выбора не было, но был количественный показатель, непременный процент, обусловленный не статистикой, а гармонией, как вот теплые или холодные краски, – и позволявший поддерживать в остальных все нараставшее лихорадочное веселье. И яркость красок, и даже повторившееся дважды кряду рекордно жаркое лето, когда в Москве плавился асфальт, обеспечивались наличием изнанки, о которой никто ничего достоверно не знал, но Марина угадывала. И потому ей было ясно, что Скалдина возьмут, – их жизнь была слишком хороша, чтобы кончиться иначе. Очередь была за ней, потому что расплачиваться предстояло всем счастливым; она страшилась только за ребенка, но у нее была старая мать, которая жила отдельно, и после скалдинского ареста Марина упросила ее приехать. Старуху, верила она, не возьмет никто. Добрая, слезливая и на всю жизнь испуганная старуха никому не нужна. Брали сильных, красивых, как Скалдин, или упрямых и строгих, как Наталья Семеновна, или молодых и догадавшихся, как она сама.

Но ее не взяли. Случилась, как это нередко тогда бывало, непредвиденная перемена ветра, и вместо «михайловского дела» все силы были брошены на очередной военный заговор. Конечно, выпускать Скалдина, полуживого, седого и даже в тюремной больнице не перестававшего хохотать, никто не стал бы. Но Марина была спасена: в июле тридцать девятого года у нее просто не приняли очередную передачу. На иное она и не рассчитывала. Она похоронила Скалдина в тот самый день, когда он спускался по лестнице их арбатского дома (они жили в коммуналке на втором этаже) и несколько раз оглянулся, чтобы широко улыбнуться ей.

Ее никто не выгонял с работы – Скалдина любили все, как-никак он был главная надежда Михайлова, а Михайлов был корифей, и многие верили, что разберутся. Она ушла сама и по знакомству, через профессора-почвоведа, нанялась в секретари к известному писателю Савину, писавшему для пионеров о достижениях науки. Однажды ей случилось перепечатывать его статью о Михайлове для «Пионерской правды», Михайлова там называли светочем отечественной науки, человеком кристальной чистоты, представителем передового отряда дореволюционной интеллигенции, который одним из первых понял и признал советскую власть. Оказалось, что его книга о переустройстве почв нравилась Ленину – об этом вспоминал Бонч-Бруевич. Перепечатывая эту статью, Марина лихорадочно искала упоминаний об учениках, но учеников словно и не было – на Михайлове агрономическая наука закончилась, и дальше ее предстояло развивать массам в своем творческом дерзании. Марина хотела объяснить Савину, что ученик у Михайлова был, и если бы ей еще не сказали тогда, что с мужем все решено и надежды нет, она бы, конечно, попыталась

вступиться, что-то сделать, хотя и понимала безнадежность попытки. У Савина были знакомства на самом верху, его приглашали на целый день на какие-то дачи, откуда он возвращался мертвецки пьяным, – Марина тогда сразу уходила, бросая неоконченную работу. Но вступаться не имело уже смысла, а главное – она понимала, что мужа взяли не за группу Михайлова и Михайлова взяли бы не за его опыты. Оба сильные, веселые и упрямые, они представлялись любимыми детьми этой новой жизни и по ее неформулируемому, но естественному закону должны были ее собою окупить или, вернее, удобрить. Если бы они не были плоть от плоти и кость от кости ее, им ничто бы не угрожало. Это было так же естественно, как то, что мы не едим камней, а питаемся органической пищей, из которой, по сути, построены. Только Михайлов успел умереть, а мертвые не годились в еду, потому что переставали быть живой материей, становясь камнем, почвой, водой.

Во время войны Савин бросил Марину, не похлопотав ни о ней, ни о ее дочери, ни о ее матери. Ей самой пришлось устраиваться с эвакуацией, в академии ее помнили и взяли в поезд. До сорок четвертого года она прожила в Ташкенте, а потом вернулась на Арбат. Мать ее в Ташкенте умерла, не выдержав переезда, голода и жары. Марина словно закаменела и не плакала, когда ее зарывали. Ей было жаль только, что вокруг чужая, сухая земля, что в ней должно быть неудобно телу, построенному из другого вещества. Здешние люди сухи, а мать ее была тяжела, сыра и слезлива.

У Марины осталась на свете одна Катя, не похожая ни на нее, ни на Скалдина, но славная и смышленая девочка – только тихая, словно с самого рождения знавшая, что защищать ее некому. Лишь в Ташкенте Марина вдруг догадалась, что и она, и Катя потеряли отцов в одинаковом возрасте и что это может стать их родовым проклятием, но и об этом она подумала вскользь, не позволяя себе развивать мысль. В сорок пятом году Катя пошла в первый класс и потом сразу перепрыгнула в третий, потому что по возрасту подходила, а училась на отлично. Секретарствовать у Савина Марина не вернулась, хотя знала, что он жив-здоров, пересидел войну на Урале, откуда писал в «Пионерскую правду» о маленьких тружениках тыла. Она работала теперь в отделе кадров на заводе имени Сталина. От красоты ее мало что осталось: она сжалась, высохла, стала меньше ростом и почти не читала ни книг, ни газет. Когда она подолгу сидела в их маленькой комнате, глядя в окно, Катя, поднимавшая голову от тетради, боялась задать матери вопрос и тем нарушить течение ее мыслей. Она сильно удивилась бы, узнав, что никаких мыслей не было, а было какое-то безнадежное и послушное ожидание. Иногда же Марина про себя разговаривала с мужем, рассказывала ему, что и как она делала сегодня, потому что в душе понимала,

что больше с мужем разговаривать некому. Если он где-то и был, то только в ней, и постепенно в ее мыслях он оформился в какое-то внутреннее существо, единственным убежищем которого была ее, Маринина, голова. Он сидел там, словно в капсуле, потому что не мог же такой большой Скалдин исчезнуть целиком, это было бы неправильно, – и если тело его легло в фундамент того яркого и насыщенного мира, естественной частью которого он был, то ведь было же что-то в его душе, принадлежавшее только ей, и это что-то никуда не могло деться, потому что никому больше не было нужно. Она разговаривала с мужем нечасто, но знала, что, если о нем не вспоминать, он обидится и может умереть, как вот если вовремя не покормить собаку. Нельзя сказать, чтобы эти разговоры были ей в тягость, но они напоминали о прежней жизни, в которой она еще жила, а не доживала, и потому слишком часто тревожить себя Марине не хотелось. Она научилась говорить с мужем очень скрытно, ничем себя не выдавая. У них выработался особый кодовый язык, происхождения отдельных понятий в котором она уже и не помнила, однако ей достаточно было намекнуть, и муж понимал. Но он требовал подробностей, ему скучно было в ее заторможенной, всегда полусонной голове, где давно не было мыслей, а только ожидание и призраки – его, мамы, Натальи Семеновны, где-то ютились и добрые узбеки, и хромоногий мальчик, но очень многих выдуло. Слишком много народу там и не могло поместиться – чтобы подкармливать такую капсулу и продлевать ее существование, нужна сила, а силы у Марины больше не было. Хозяйство было на дочери, с ранних лет выучившейся отлично мыть пол, готовить, тихо читать в углу, не приставая. Она все делала отлично и тихо и боялась только, что матери однажды станет плохо. Но Марина не могла себе такого позволить, и девочка каким-то чутьем об этом догадывалась.

Однажды, пятого сентября сорок восьмого года, двенадцатилетняя Катя делала уроки, и вдруг ее позвали к телефону. Она испугалась – ей показалось, что заболела мать. Она была такая бледная в последнее время, и Катя больше всего боялась, что она упадет на улице и не сумеет сказать, где ее дом. Она не рассказывала матери об этих страхах, не желая ее тревожить, но по ночам часто представляла себе толпу на улице, врача, милиционера – и бледную, только что после обморока, мать, которая не может выговорить их адрес. Но это была не мать и не кто-то с работы матери, а незнакомый и сильный мужской голос.

– Это ты, Снегурка? Мама дома?

– Нет, – ответила Катя и хотела уже спросить, кто это и что передать, но тут поняла, что знает, кто это. Мать редко рассказывала ей про отца, и Катя знала

только, что он погиб на фронте, а до этого два года был вдали от дома с особым заданием. Отец и называл ее Снегуркой, потому что она была беленькая, а они с матерью – темноволосые. Скалдин действительно шутил, что дочь ни в мать, ни в отца, но про проезжего молодца не добавлял, потому что не хотел обидеть Марину. Сама Марина никогда так не называла дочь, но в немногих рассказах про отца обязательно упоминала «снегурку». Больше от него, собственно, ничего не осталось: был игрушечный песик, сделанный из целлулоида, но он потерялся в песочнице, когда Кате было три года. Мать тогда очень сердилась на нее.

Катя никогда не допускала, что отец исчез навсегда, и до сих пор думала, что задание его затянулось, что вся их тихая арбатская жизнь каким-то образом обеспечивается его невидимой заботой, и если бы Марина узнала об этой ее фантазии, она бы удивилась ее сходству со своей давней догадкой о том, что Скалдин заплатил за их существование, потому что божество, которое их хранило, нужно было подпитывать, а кого попало оно не ело.

– Катька! – весело сказал голос. – Передай матери, что я буду ждать ее сегодня в восемь около почтамта. Я приехал ненадолго, мне еще тут надо кое-что сделать, а потом я к вам зайду. Но сначала мы должны с ней увидеться, обязательно. Я ей кое-что должен отдать. Поняла? Только обязательно запомни: в восемь часов около почтамта. Она где сейчас работает?

– На заводе имени Сталина, – задыхаясь, ответила Катя. Она не могла позвать отца домой, потому что он, видимо, все еще был на задании. Но как это он, выполняя такое важное задание, не знает, куда перевелась мать? – Я могу дать телефон, можно позвонить, ее позовут… – Она старательно избегала любых конструкций, в которых требовались «ты» или «вы».

– Нет, я звоню от друга и не хочу его обременять, – сказал веселый голос. – Позвони ей сама, а может, лучше ее и не тревожить. Она ведь придет часов в шесть?

– Да, она обычно приходит в шесть. – Катя обрадовалась, что отец по крайней мере знает, во сколько мать приходит с работы.

– Ну вот, тогда и передашь ей. Скоро увидимся, Снегурка. Будь здорова. – И отец повесил трубку.

Катя долго еще стояла в коридоре у телефона, и боясь, и надеясь, что он еще перезвонит. Мимо прошаркала туфлями старуха соседка, недавно поселившаяся к ним вместо прежнего соседа – она иногда пускала ее в свою комнату полюбоваться картинами и попить чаю из старинных тонких чашечек, так называемых кузнецовских. Непонятно было, как они уцелели в войну в пустом доме. Наверное, старуха куда-то спрятала их, как клад, а потом достала.

– Мама звонила? – спросила старуха.

– Нет, – ответила девочка, но про отца ничего не сказала. Отец был на задании, сейчас шел самый ответственный, последний его этап, и если он даже не может зайти домой – значит, ничего про него говорить пока нельзя. – Это подруга, спрашивает уроки.

– Вам очень много задают, – посочувствовала старуха. – Разве нам столько задавали? – И, вздыхая, пошла на кухню.

Катя вернулась в комнату, но уроков делать не могла. Она знала, что теперь их жизнь изменится, а как изменится – не представляла. Звонить матери на работу ей казалось неправильным – кто-то мог услышать, и вообще мать успеет к почтамту, если придет домой как обычно. Вот если она задержится – другое дело.

Катя попыталась вернуться к урокам, но учеба не шла, даты из Смутного времени не запоминались, так и оставаясь смутными. Один раз ей вдруг показалось, что отец уже тут, стоит за дверью, только почему-то не может войти. С сильно бьющимся сердцем она подошла к двери, постояла у нее, но открыть не решилась.

Мать пришла без десяти шесть, когда Кате уже начинало мерещиться, что она видит, как стрелка на ее маленьких наручных часах (подарок к окончанию четвертого класса) двигается: медленно-медленно, но различимо. Ей было страшно: только что какой-то мужчина – видимо, пьяный – громко, яростно кричал за окном. На улице шел дождь, мать была в старом прорезиненном плаще. Зонта она не брала с собой, потому что по рассеянности часто забывала его в трамвае или в метро. В другое время Катя сразу кинулась бы разогревать ей обед – ведь мать очень устала. Потом они сели бы есть, Катя расчистила бы

стол от своих учебников и стала рассказывать школьные новости – они как раз проходили «Дубровского», и она хотела спросить мать, почему Дубровский не увез Машу с собой, а так и оставил неизвестно на кого. Но теперь, конечно, было не до Дубровского.

– Мама, – начала она осторожно, боясь напугать Марину. – Ты не волнуйся, пожалуйста. Папа звонил.

Марина ничего не поняла и потому переспросила, какой папа. Катя объяснила ей все с самого начала, постоянно умоляя не волноваться. Марина как раз всю дорогу домой от метро – долгую, осеннюю, дождливую, мимо луж, по дробящимся на асфальте отражениям фонарей и окон, – рассказывала мужу, что живут они неплохо, поэтому переход к Катиному сообщению был ей странным образом облегчен. Муж мог позвонить, ничего необычного, ведь она только что с ним долго разговаривала. И ей понадобилось минут двадцать, чтобы заново осознать, что позвонить он не мог. Впрочем, она тут же отняла десять от сорока восьми и поняла, что в июле у него истек срок, а ведь что такое десять лет без права переписки – ей все объясняли по-разному. Оборачивалось по-всякому, и Марина знала это, хотя каким-то тайным и единственно верным чутьем давно поняла, что Скалдина могли только убить, а вернуть не могли, потому что для поддержания той жизни он был нужен весь, и именно такой, а про нее и Снегурку никто не подумал.

И все-таки Марина так привыкла быть неправой, то есть так часто убеждалась в том, что ее правота, как и она сама, никому не нужна, – что могла же она, в конце концов, и ошибиться, а значит, Скалдин мог быть жив. И должен же кто-то был его встретить за все, что он там, наверное, вынес, а вынес он – в Маринином сознании – очень много, потому что варианты, которые она примеривала к нему, были бесчисленны. Если бы она знала, что так у всех, ей стало бы легче, но делиться ей было не с кем, а к чужой откровенности она не располагала.

В капсуле ее сознания он валил лес, дробил камни, его использовали в каких-то страшных медицинских экспериментах (ведь фашисты экспериментировали на людях, значит, это зачем-то нужно). В ее снах он водил машины по горным дорогам, осушал болота, горел в топке, которую отчего-то можно было топить только людьми и непременно еще живыми. Он мог вернуться при одном условии – от него должны были целиком взять ту веселую силу, к которой она так захотела прислониться в свои девятнадцать лет, – а потом его, наверное, можно было отрыгнуть.

– Катя, – спросила она строго, – какой у него был голос? Это очень важно.

– Веселый, – недоуменно ответила Катя. – Нормальный голос. – Как будто она могла помнить обычный голос отца.

– Хорошо, – сказала Марина. – Сиди смирно, никому не открывай, а я пойду.

– Рано еще, мамочка, – попыталась удержать ее Катя. – Посиди, поешь. Ты ведь устала.

– Нет, нет, – отстранила ее Марина. – Почтамт далеко, я пойду.

Она вышла из дома. Из булочной, что на первом этаже, выносили огромные овальные торты. Рядом стояла карета скорой помощи, – вероятно, кому-то плохо стало на сеансе в душном зальчике арбатского «Арса». Марина давно не ходила в кино.

К почтамту на Кирова она шла пешком, чтобы успокоиться, но никакого успокоения не наступало – она даже чуть не попала под зеленую «Победу», обрызгавшую ее с ног до головы, и все это время в ней не унималась внутренняя дрожь, от которой трудно было не только идти, но и дышать. Она старалась идти медленно и все равно пришла на полчаса раньше условленного времени. Перед поворотом на Кирова, у Сретенского собора, пришлось долго подниматься в гору, и она никак не могла справиться с дыханием. Часы на почтамте показали без пяти восемь, восемь, пять минут девятого. Она боялась привлекать внимание своей неподвижностью, поэтому принималась ходить вдоль фасада, но боялась и пропустить мужа – и застывала снова. У нее мерзли ноги, странно дрожало что-то за глазами и чесался почему-то язык. В четверть девятого все еще никто не пришел, но ей уже казалось, что постовой-регулировщик странно поглядывает на нее, – хотя до нее ли было регулировщику в такой дождь?

Москва вокруг нее была совсем не та, в которой брали Скалдина. Из нее навсегда ушла праздничность, которую только и могли подпитывать непрерывным отбором веселых и сильных людей, исчезавших неизвестно куда. Их лица глядели с каждого листочка, и потому листочки были такие свежие. Теперь люди тоже исчезали, хотя и не так часто, но прежней радости уже не

было ни в чем. Сила, которую она раньше чувствовала вокруг себя, словно надорвалась на войне. А может, вся она ушла в землю, бесполезно потратилась во время боев, когда жизнь проливалась из человека в никуда, а не усваивалась тем божеством, которое всех их хранило и обеспечивало. В общем, Москва стала серая, и даже новые здания, отстроенные взамен разрушенных, не добавляли ей красоты и света. Марина не могла этого объяснить, но чувствовала. Если бы в такой Москве появился прежний Скалдин, на него все оглядывались бы. Но таких, как он, больше не было, а другие мало годились в пищу. Их ели нехотя, без радости, чтобы не умереть.

В половине девятого никто не пришел, но она твердо решила ждать до девяти. Скалдин никогда не опаздывал, но мало ли какие у него могли быть обстоятельства. Только без четверти девять незнакомый мужской голос вдруг окликнул ее:

– Маруся!

Так называл ее он. С бешено заколотившимся сердцем она обернулась, но тут же увидела высокого молодого человека, навстречу которому бежала худенькая девушка с зонтом. Зонт вырывался у нее из рук, но она не смеялась, как смеялась бы Марина десять лет назад. Лицо у нее было хмурое и сосредоточенное, словно и ловить зонт, и бежать к молодому человеку – работа. Молодой человек не обнял ее, как обнял бы Скалдин, а только коротко прижал к себе, потом взял за руку, сунул ее в свой карман – согреть, – и они быстро пошли в сторону центра.

После этого Марина отчего-то не стала дожидаться девяти, а медленно, снова пешком, пошла прочь. Именно в этот момент ей стало ясно, что никто не придет. Она могла доехать до Арбата на метро, с пересадкой, но почему-то, поддавшись настроению, решила идти пешком, и только на углу Петровки ей вспомнилось, что в Москве есть и другой, новый почтамт. Так иногда называли Центральный телеграф, построенный лет десять назад на улице Горького, наискось от Художественного театра. Может быть, Скалдин ждал ее там, а может быть, и до сих пор стоит, но все то же тайное знание сказало ей, что никакого Скалдина нигде нет. Словно эта другая, чужая Маруся раз навсегда подтвердила ей, что ждать больше нечего. Это же тайное знание говорило ей раньше, что бесполезно хлопотать за Наталью Семеновну и Скалдина, и бесполезно просить Савина, и не нужно ничего ждать. Все происходило навсегда.

Дома она сказала Кате, что папа не пришел, что это была чья-то плохая шутка или кто-то ошибся номером. Он погиб на войне, и ждать больше не надо.

– Но ведь находятся! У Сони отец нашелся, он был в плену и вернулся! – сказала Катя, которая к приходу отца убрала квартиру и вырезала три бумажные салфетки – для их первого тройственного чаепития.

– Это чья-то ошибка, Катя, – отрезала мать.

– А Снегурка? – воскликнула Катя, чуть не плача.

– Многих девочек называют Снегурками… – И машинально, для убедительности, Марина добавила: – И меня так в детстве звали.

Тут же она вспомнила, что мать действительно назвала ее так однажды, когда она, вся в снегу, пришла домой после прогулки с первым своим кавалером. Ей было тогда тринадцать лет. Но больше никто и никогда не называл ее так. Ее поразило только, что почти все, что она говорит, оказывается правдой, словно ей откуда-то заранее все известно.

Катя с мамой сели пить чай и больше не говорили об отце. Но самое странное, что наутро в песочнице нашелся красный целлулоидный пес. Катя шла в школу через двор и увидела его случайно. Она почти забыла эту игрушку, но сейчас вдруг вспомнила с необыкновенной ясностью. Конечно, это был он. Откуда он взялся? Может быть, отец купил такого же и передал привет, чтобы они не думали, будто он опять уехал навсегда? Или просто малыши рылись в песке и нашли игрушку, которую не сумели отыскать Катя с мамой девять лет назад?

Она бережно взяла пса, поцеловала его и положила в портфель, а дома показала маме. Мама долго плакала и сказала, что это, конечно, дети, кто же еще. С тех пор он снова жил у них в квартире, смешной, нелепый, – стоял на почетном месте, на буфете, и Катя иногда тайком брала его в постель, а когда она вышла замуж и родила сына, и ему иногда давала поиграть красного пса.

Катя ничего не забыла, хотя так до конца и не понимала, что же такое произошло тогда у почтамта. Она никогда не расспрашивала мать, щадя ее, а когда выросла – расспросить не могла, ибо через год после Катиного замужества Марина потеряла рассудок. Она никому не позволяла прикасаться к себе, потому

что это могло повредить живущим внутри нее существам, у которых любое чужое прикосновение отбирало силы. Все и трогали ее только потому, что хотели зарядиться их силой, а больше силы нигде не было. В психиатрической больнице она перестала есть – это была плохая еда, вредная для них, – и умерла за месяц.

Все это случилось задолго до рождения внука, в пятьдесят шестом году. Слава носил фамилию Катиного мужа – Рогов – и о деде знал только, что тот пропал. Конечно, в пятьдесят седьмом его реабилитировали, выдали справку с фальшивой датой и странной причиной смерти без указания ее места (сорок третий год, сердечная недостаточность – словно дед воевал, был под Сталинградом и умер там от сердечного приступа). В шестьдесят третьем году Скалдина даже включили в список любимых учеников Михайлова, когда о том вышла подробная книжка в серии «Жизнь замечательных людей». Оказалось, правда, что последние опыты Михайлова и учеников, прерванные смертью старшего и арестом почти всех младших, были обречены с самого начала, никакой сверхустойчивой пшеницы у них бы не получилось, о чем их всех предупреждал другой молодой профессор, ученик Вавилова, арестованный за год до «михайловского дела». Перед расстрелом он оговорил всех своих родственников в надежде, что эти абсурдные показания докажут абсурдность и его собственного ареста. Так рассуждали многие, но никого это не спасло, и молодой ученик Вавилова был расстрелян за попытку затормозить прогресс. Затормозить прогресс нельзя, поэтому все когда-нибудь окажутся неправы. Просто одни сначала мучаются и смеются в ответ на все вопросы, другие оговаривают себя и всех родственников, а третьи успевают умереть.

У самой Кати не было сомнений в том, что отец погиб, но история эта продолжала ее томить, и в восемьдесят пятом году она рассказала ее сыну. Так Рогов узнал о посмертном звонке своего деда. А в восемнадцать лет он услышал другую историю. У его одноклассника, к которому он часто заходил в гости и иногда оставался обедать, была бабушка Ира, толстая, но статная старуха, в свои немалые уже годы казавшаяся Рогову бодрее его матери. Бабушка Ира привечала его и за что-то жалела. Он напоминал ей первую любовь – мальчика с редким именем Иммануил, Има. Этот Има учился с ней в одном классе в тридцатые годы, когда не было еще раздельного обучения. Он был сыном высокопоставленных, таинственных родителей, о которых в классе почти ничего не знали, но трепетали, когда полный, густобровый отец Имы, казавшийся очень старым (Има был поздним ребенком), заходил в школу. Директор лично выбегал встретить его и не мог нахвалиться на сына, в самом деле круглого отличника. Фамилия Имы была Заславский. И бабушка Ира, и Рогов специально после

узнавали, не было ли наркома с такой фамилией. Наркома не было, но ведь были же тогда какие-то секретные должности, указания на которые, наверное, можно найти только в самых закрытых архивах.

В Иму были влюблены все девочки класса: высокий полноватый еврей с ярко-синими глазами, он был со всеми дружелюбен, охотно давал почитать книги из огромной отцовской библиотеки, помогал с уроками, но никого особенно не приближал. Дружил он только с Марком, который и стал впоследствии дедом роговского одноклассника. Вместе они ставили какие-то химические опыты у Имы дома, в огромной квартире на Ордынке.

Была у него и роскошная дача, но туда Има никого не приглашал, видимо стесняясь богатства, хотя и вполне заслуженного. Впрочем, возможно, что и дача была секретная. Но лето он обычно, по слабости здоровья, проводил на юге, куда ездил со старшей сестрой, очень, в противоположность ему, некрасивой и сердитой девушкой, иногда приходившей на родительские собрания, когда мать и отец бывали заняты. Родителей из города даже на лето не отпускали дела. Тогда все очень много работали.

Однажды – класса после седьмого – Има пообещал бабушке, а тогда девочке Ире, что по дороге на юг, когда поедет мимо Царицына, выбросит ей письмо. В Царицыне девочка Ира жила на даче, которую ее мать снимала за невеликие деньги. Поезд проходил мимо их станции поздней ночью, потому что из Москвы отправлялся в одиннадцать. Место было таинственное, с легендами, с темным силуэтом недостроенного дворца, который царица отвергла из-за того, что он ей напомнил гроб – кстати, совершенно безосновательно. Дачные дети у костра рассказывали о привидениях. Ире было страшно идти одной на станцию, и она взяла с собой подругу. Без четверти двенадцать мимо Царицына прошумел скорый поезд, и из желтого, уютно освещенного окна вылетел камень, обернутый в бумажку. Стекло тут же поднялось – Име были опасны сквозняки. Девочки долго искали камень в колючих кустах, царапая руки и коленки, но наконец нашли и прочитали письмо. Бабушка Ира помнила из него только одну строчку, которая потрясла ее до глубины души: «Поезд мчится вдаль, а я – в неизвестность».

– Ну и что такого? – подзуживал ее внук. – Подумаешь! На улице идет дождь, а у нас идет концерт!

– Заткнись, дурак, – беззлобно отвечала бабушка. – Ничего ты не понимаешь. Слушай дальше.

Насчет неизвестности, в которую мчался поезд, все оказалось правдой. В десятом классе Има исчез, потому что исчезли его родители. Говорили, что отца и мать взяли в одну ночь (они и работали вместе), а самого Иму отвезла к себе на Украину бабушка. Это потом не подтвердилось. Учитель математики, единственный в школе мужчина, кроме преподавателя военного дела, сказал, что Има – любимый его ученик, кстати, – прислал ему письмо и что он вместе с бабушкой в ссылке. Письма, впрочем, не показал и вообще больше на эту тему не распространялся. Рассказал он про письмо только Ире, да и то в походе. Походы были его страстью.

А летом сорок восьмого года Ира прибирала в двухкомнатной квартире мужа, находящейся неподалеку от станции метро «Парк культуры» (там они жили с Марком, чьи родители почти одновременно умерли вскоре после войны), и тут в дверь позвонили. Она открыла. На пороге стоял Има.

Она узнала его сразу – по огромным синим глазам и густым бровям, – хотя больше в нем не осталось ничего прежнего. Даже волосы его, прекрасные черные волосы, пропали, – на голове кустами топорщилась серая короткая поросль. Выпирал огромный костистый нос. Парусиновый пиджак болтался на Име, как на пугале. У ног его стоял неуклюжий фанерный чемодан, похожий на самодельный.

– Имка! – ахнула бабушка. – Заславский! Где же ты был?

– Эх, Ира! – Он отвел глаза. – Легче сказать, где я не был. А Марик дома? Я хотел ему кое-что передать.

– Марик в командировке, в Алма-Ате. Он будет через три дня. Да заходи же ты, ради бога! Он там гостиницу строит. Слушай, вот он обрадуется! Заходи, поживешь у нас, пока его нет.

– Ира, я зайду вечером. Мне сейчас бежать надо. – Има подхватил чемодан и повернулся уходить.

– Да постой ты! Хочешь, оставь мне, что нужно, – он вернется, и я все передам!

– Нет, нет, Ирочка, – ответил Има, полуобернувшись. – Это я могу только лично. Я зайду через три дня. – И он пошел к лифту.

– Има! – окликнула Ира. – А помнишь, как ты мне письмо писал? «Поезд мчится вдаль, а я – в неизвестность».

– Помню. – Има даже остановился от неожиданности. – Помню! Слушай, столько всего забыл, а это – нет.

– Да ты останься хоть пообедать – что мы на лестничной клетке разговариваем!

– Я зайду, Ирушка. Обязательно зайду. – И лифт поглотил его.

Но он, конечно, никогда не зашел. Марик, когда узнал об этом визите, очень расстроился и даже ходил к Име домой, но там давно жили другие люди.

А в восемьдесят девятом году Рогов прочел в «Вечерней Москве» воспоминания о Бабеле, написанные сыном журналиста-«правдинца» Козаева, благополучно пережившего и репрессии, и войну. Больше всего в этих воспоминаниях его поразила история, приключившаяся летом того же сорок восьмого – спустя восемь лет после официальной даты бабелевской смерти. Тогда пятнадцатилетний сын журналиста сидел дома один – отец, как всегда, был в разъездах, мать зашла к соседке за мукой и заболталась. Раздался телефонный звонок, и мальчик узнал голос Бабеля.

– Это ты, Леша? – Даже по телефону слышно было, как Бабель улыбается. – Ты больше не хочешь стать бибизяной? – И сын журналиста узнал его короткий смешок.

Этого не мог знать никто, кроме ближайших друзей семьи. Леша в пять лет действительно мечтал стать «бибизяной», потому что она может не ходить в сад и на работу, а только скакать в джунглях и есть за бананом банан.

– Это вы, Исаак Эммануилович? – спросил Леша, который никогда не верил, что такой хороший человек может пропасть насовсем.

– Я, я. Узнал, хитрец. Скажи, пожалуйста, папа дома?

– Он уехал, Исаак Эммануилович! В командировку. Хотите, подойдет мама? Она у соседей, я сейчас позову…

– Да не надо. Я думаю, у нас будет еще время встретиться. Передай им… а впрочем, я сам передам. Вечером зайду и передам.

Но он не зашел, хотя о звонках его в это же время вспоминали еще три человека. Всем он хотел что-то передать, но всякий раз откладывал визит. Он был спокоен, сдержан и, казалось, куда-то торопился.

Таких историй Рогов за пятнадцать лет скопил множество. Совершенно достоверны из них были, правда, только пятнадцать – остальные напоминали апокрифы, и получил он их из третьих рук. Но те, которые он слышал от участников и не подвергал сомнению, были почти одинаковы, сходясь в большинстве деталей. Лишь два случая несколько разнились от прочих: один он услышал от дальнего родственника с отцовской стороны, когда отец возил его к себе на родину в Ленинград, а второй – от попутчика в поезде. Эти истории стекались к нему по какому-то странному закону, а может, люди просто чувствовали его интерес. В обоих случаях никакого телефонного звонка не было и никто ничего не передавал, тогда как в семи из тринадцати прочих историй фигурировало обещание передать что-то, на словах или в виде свертка, но непременно лично. Оба возвращенца появлялись въяве – одного видели в трамвае в начале сорок девятого (он исчез в августе сорок первого года, взятый при начале блокады за пораженческие слухи), а второй померещился случайному роговскому попутчику уже в пятидесятом, в телефонной будке. Он звонил кому-то, не забывая спокойно, но внимательно оглядываться по сторонам. Заметил он и давнего фронтового знакомца. Этот самый знакомец сорок лет спустя ехал на встречу с однополчанами по тридцать пятой дивизии, собиравшимися в Калаче-на-Дону. Дело было осенью девяностого года, и третьекурсник Рогов, младший сержант запаса, недослуживший год по милосердию Минобороны (всех призванных студентов отпустили домой), ехал в Ростов на конференцию истфака местного университета. В вагоне-ресторане они и разговорились.

– Его взяли за какие-то письма, – рассказывал старик. – Он был отличный офицер, хотя человек высокомерный и со странностями, как многие москвичи. Но я уважал его за храбрость, и мы часто разговаривали. Он знал много стихов,

некоторые я попросил списать, чтобы послать жене. Что-то Блока, кажется… Постойте, я, кажется, даже наизусть помню. «Дуют четыре ветра, волнуются семь морей, все неизменно в мире, кроме души моей…»

– Это не Блок, – покачал головой Рогов.

– Да? Ну, может быть, он сам писал… Я ведь военный, не специалист. – Старик задумался. – Да, может, и сам. Его вызвали в особый отдел, и больше он не вернулся. Я знал, что у него арестованы родители, какие-то московские шишки, и он надеялся выслужить им прощение. На фронте рассказывали про такие случаи. В нем было что-то такое, знаете… какой-то слом, предназначение, если хотите. Я за войну и потом, когда остался в армии, такие вещи научился различать лучше любой гадалки. Но все-таки мне обидно было, что он гибнет ни за что, и жалко было родителей – он немного про них рассказывал. Он писал отцу в лагерь и матери в ссылку, мать отвечала, а от отца давно ничего не было. В начале войны многих заключенных утопили на баржах, – вы, наверное, знаете.

Рогов кивнул.

– Обратиться напрямую к особисту я, конечно, не мог, – продолжал попутчик. – Я был обычный старший лейтенант, пусть уже и представленный к ордену, и никто не стал бы передо мной отчитываться. Но слухи до меня доходили, и я узнал, что его как раз и взяли за переписку с отцом. Это показалось подозрительным, да и мало ли что он мог там писать. Больше о нем не было никаких сведений, но я его не забывал, хотел даже матери его отписать, но не знал адреса. Искал, не нашел. Однажды, году в сорок седьмом, я случайно встретил того особиста – пересеклись у нашего помпотеха, он демобилизовывался. Особист наш был не такой, как теперь про них пишут, человек смелый, и я даже уважал его вчуже. Выпили крепко. И я набрался храбрости, спросил: ну а как старший лейтенант Сутормин? Может быть, вы помните его? И представьте себе, он помнил. Сутормина трудно было забыть. Красавец, бледный… Он сказал, что его затребовали в Москву, дело оказалось серьезное, как-то он попал под кампанию, что ли, – все отрицал, ни в чем не признался и сгинул. Особист мне намекнул, что в живых его бы не оставили. Сорок четвертый год, что вы хотите.

И вот представьте, я летом сорок восьмого приезжаю в Москву по делам, остановился в гостинице, иду на ВДНХ – и что вижу? Его, живого, невредимого! То есть мне сначала так показалось, что невредимого. Стоит в телефонной будке, накручивает диск, потом что-то говорит, но сам посматривает по

сторонам, словно опасается слежки. Одет кое-как, костюм поношенный, какого, знаете, бродяга постыдился бы, – но на нем прилично сидит, на нем все прилично сидело, даже гимнастерка прожженная, – представляете, какие у нас в сорок четвертом были гимнастерки? Сами не мылись месяцами, чего уж тут… И вот, знаете, когда водил он глазами по сторонам, вдруг заметил меня. Ни один мускул в лице не дрогнул. Он продолжал говорить, но глаз с меня уже не сводил – у него были черные пронзительные глаза, огромные, я по ним-то и увидел при первом знакомстве, что он не жилец. Демон, мы так и звали его. И вот смотрит, говорит, а рукой делает мне знак: подойди! Вы меня, конечно, осудите, да я и сам себе теперь простить не могу, – но я словно врос в землю. Смотрю на него, глаз не отвожу, а шагнуть боюсь. Я и сейчас вам не объясню, что это было… хотя с конца сорок второго, с семнадцати лет, был на фронте и видел всякое. И даже скажу вам, что боялся мало. Это был обычный страх, где-то даже привычка. Поначалу он ощущался, а потом приходила осторожность, навык, – в общем, знали уже, что если не лезть на рожон, так, может, и обойдется. Но тут я смотрел в эту будку – лето, люди кругом, шум стоит, машины, говор, какие-то узбеки в халатах, – а я стою от него в десяти метрах, и мороз дерет меня по коже. Потому что это был и Сутормин, и не Сутормин.

Самое страшное, что он стал будто меньше ростом, сплющило его и пришибло. Он был высокий, тонкий, а тут – словно вырубленный из дерева, обкорнанный какой-то обрубок, фигура неуклюжая, квадратная. Лицо бледное, как всегда, но надулось: то ли вода под кожей, то ли он как-то весь оплыл, опустился. Не потолстел, нет, но именно что оплыл. Он и сейчас был демон, но даже не демон поверженный, а – как бы сказать – если бы из демона вдруг стал бес, обычный бес, – вот так оно точнее всего. Он словно смотрел на меня из такого ада, который только и есть настоящий ад – не с кострами и сковородками, а вот, простите за сравнение, одна огромная параша, из которой нету выхода, а если и есть, то он уже не нужен. Потому что кто там день пробыл – тот мертвый. И он был мертвый. И по тому, как он вокруг себя смотрел, я сразу понял: осматривается он больше для порядку. Обнаруживать себя ему нельзя, но ему лично такое обнаружение ничем бы не грозило. А просто людей, вышедших оттуда, – хотя какие они были люди? – нельзя было видеть, они не имели права показываться. И вот я до сих пор думаю: кому же он мог звонить?

– Наверное, хотел что-то передать, – машинально сказал Рогов.

– Что вы говорите? – перегнулся к нему старик.

– Нет, так. А что дальше было?

– Ничего не было. Он поманил меня пальцем, а сам смотрит в упор, и такое глянуло на меня из его глаз, что собрал я все силы да и дернул прочь, как заяц. Боевой офицер, с наградами, майор артиллерии. А бежал не оглядываясь, очнулся уже на какой-то окраине, куда и трамвай не ходил. Смотрю – вечер, бараки вокруг – длинные, безглазые. И мерещится мне, что в них все такие, как он… На мое счастье, ехал мимо таксист. Как его туда занесло? Не иначе ангела с машиной прислали по мою душу. «Садись, майор, подвезу». Вернулся я в гостиницу, пошел в ресторан, напился, как давно не напивался, и всю ночь проспал как убитый. Только утром отпустило, но на ВДНХ в тот раз я так и не побывал.

– И Сутормина больше не видели?

– И не видел, и сведений не имел. Хотел было запрос подать, но знаете – страх взял. Мне легче думать, что обознался. Все-таки любил же я его – где мне было с ним, таким, заново встречаться? Ну сами вы посудите, молодой человек!

– Нет, вы, скорее всего, не обознались, – задумчиво сказал Рогов.

– А почему вы так думаете?

– Не знаю. Тогда многие вернулись…

– Это верно, – кивнул старик. – Многие. И видел я многих оттуда. Но по ним, знаете, и не сказать было иногда. Как законсервировались они в мерзлоте этой. Веселые, отличные мужики… А таких я не видел, нет, таких больше не видел. Ну, правда, и досталось же ему – сперва родителей взяли, потом фронт…

– Лазарь, – сказал про себя Рогов, но старик расслышал.

– Вы думаете, все Каганович?

– Нет, другой Лазарь. Помните, Христос воскресил Лазаря и никто не мог выдержать его взгляда?

– Не читал, – виновато признался старик. – Видите, до сих пор не удосужился…

– Жаль, что вы не подошли, – сказал Рогов. – Нет, нет, не платите, пожалуйста. Позвольте мне. Вы сами не представляете, как мне важен ваш рассказ.

– Вы не родня ему? – Старик прищурился. – Бывают такие совпадения, что ни в одной книжке не вычитаешь…

– Нет, – ответил Рогов, – не родня.

Это свидетельство было тем ценнее, что речь шла о единственной личной встрече с вернувшимся: в остальных случаях визуального контакта не было, не считая, впрочем, того мимолетного ленинградского эпизода в трамвае, – но родственник отца был близорук и мало что успел разглядеть. Видел он только, что ехавший в трамвае двоюродный брат его жены, которого он и до войны видел мельком, два-три раза, был занят странным для своего возраста делом: держал в руке маленькое карманное зеркальце и показывал его кому-то в окне. Трамвай, в котором ехал двоюродный брат, проходил по Петроградской стороне, мимо улицы Барочной, и в старинном доме на углу кто-то смотрел в окно. Кажется, девочка, кажется, славная. Но все это близорукий родственник роговского отца видел мельком, а достоверно заметил только, что двоюродный шурин («Кажется, это так называется? Я путаюсь во всех этих отношениях…») пускает солнечного зайчика по стене. Родственника он не заметил – тот стоял на остановке и ждал другого трамвая. Двоюродный брат жены казался сосредоточенным, и вид у него был слишком серьезный для человека, занятого таким легкомысленным делом.

Этот зайчик и эта сосредоточенность были единственными звеньями, для которых Рогов не находил места в своей цепи. Остальное он, кажется, понимал. Он понимал то, о чем боялся задумываться следователь его деда, и то, чего не могла выразить словами его бабка Марина, всю жизнь медленно терявшая рассудок и забывавшая то, что было вчера. Он понимал, почему их брали и почему они возвращались. Но нужны были годы, чтобы все встало на места.

Летом Рогов с родителями жил на даче. Крошечный садовый участок получил в семьдесят втором году его отец, инженер на большом московском заводе. Все давалось отцу с трудом, но в конце концов он обзавелся набором советского благосостояния – правда, в самом жалком его варианте: у них с Катериной Ивановной появилась двухкомнатная квартира, за год до рождения сына они купили машину – первую «Волгу», с передачами на руле, – а когда Славе исполнилось три года, образовалась и дача, чтобы ребенку было где дышать свежим воздухом и получать незагазованный, выращенный без химии витамин. Участки заводу дали в сырой и кочковатой местности, километрах в восьмидесяти к югу от Москвы, и дачный поселок имени писателя Станюковича, имевшего когда-то усадьбу в этих местах, стал расти и обустраиваться. Строились кто во что горазд, из среды заводских немедленно выделились люди с незабытыми или генетически усвоенными сельскими навыками, население мигом расслоилось на тех, у кого почва осушалась и в огороде все родилось, – и тех, кто, подобно Роговым, тщетно вбухивал в болотистую местность песок и время. Песок немедленно проседал, гряды зарастали, а если их от сорняков покрывали рубероидом, вырезая в нем пятиугольные дырки для клубничных усов или смородинных саженцев, то сорняки перли и сквозь рубероид. В парниках под немедленно рвавшейся пленкой отчего-то урождалась одна влажная, белесая трава. Памятником бесплодному усилию для Рогова навеки остался отец с тачкой, только что вываливший в гряду очередную порцию песка или навоза и отирающий лоб; он скалился от усталости, тяжело дышал, и лицо его выражало при этом не гордую радость и даже не здоровую злость, а почему-то мольбу. Природа его мольбы не слышала, и съесть огурец, выращенный собственным трудом, ему удалось, кажется, единожды в жизни. Но и огурец этот он ел с выражением жалобным, словно умоляя не растаять вдруг, как мираж.

После выхода на пенсию отец окончательно разуверился в любых своих усилиях и начинаниях (он работал бы и еще, но его выпихнули, – правда, сын уже поступил на истфак, и можно было расслабиться). Он проводил на даче все больше времени, но вместо того, чтобы высвободившееся время посвятить обработке земли, пристрастился к походам за грибами. Впрочем, и тут ему не везло, земля его не любила, и когда соседи приносили гигантские плетеные корзины, полные доверху и прикрытые папоротником от завистливых взглядов, он еле набирал пакет лисичек и сыроежек, которые от сдавливания еще и крошились. Рогов-младший с детства недолюбливал соседей, но стыдился и отца. Сам он, рослый, светло-русый, с широко расставленными глазами и неторопливой речью, пошел в Скалдиных – умел и любил повозиться в земле, но тщета отцовских усилий вечно стояла у него перед глазами. Дача была для всей семьи чем-то вроде навязчивого ритуала, от которого не хватало духу

отделаться: каждое лето мать выпалывала тут же стремительно зараставшую, выродившуюся клубнику, отец в тачке развозил по участку и рассыпал кучками очередную машину песка, а Рогов, когда его удавалось затащить на дачу, принимал во всем этом посильное и неохотное участие. Он любил дачу не за это, а за то же, что и все книжные дети его времени: тут было искаженное, отдаленное напоминание об усадьбе, свидание с той книжной родиной, которая для всякого думающего человека давно уже свелась к пейзажу, потому что все остальные столкновения с ней были слишком скучны или страшны.

Со временем дачный поселок менялся, старые владельцы умирали или продавали участки, новые на месте старых полутораэтажных халуп-курятников возводили краснокирпичные коттеджи с пристроенными парниками, и весь путь от станции до дома, проходивший когда-то через колхозное поле, петлял теперь между тесно поставленными новорусскими домами, одинаковыми и почти жалкими на фоне дальнего леса. Из былых дачников на всей их улице остались только Роговы да старик Кретов, который заходил к ним иногда поболтать. Жизнь у Кретова была бурная. Он любил выпить, от выпитого добрел и рассказывал про свои странствия. В конце двадцатых он гонялся за какими-то басмачами по Средней Азии, потом возводил завод на Урале, занимался журналистикой в Москве, хитростью избежал фронта, вдруг заинтересовался геологией, получил первое в жизни высшее образование (было ему уже за тридцать) и после этого изъездил всю страну от Певека до Горного Алтая. Благодаря общительному нраву он сходился с огромным количеством людей, помнил все их фамилии и истории, и именно от него Рогов впервые услышал множество полудостоверных, увлекательнейших сплетен – от истории убийства Кирова до тайны летающей тарелки, которую наши сбили в семьдесят втором под Новосибирском и тут же навсегда засекретили. Тарелку эту Кретов часто видел, работая в Сибири, и уверял, что одного юношу из их партии инопланетяне похитили, потому что, взятый ими в Новосибирске, он очнулся потом в Астрахани на автовокзале и не помнил ничего, кроме собственного имени да еще того, что какой-то трехглазый делал ему укол.

Рассказывать все это маленькому Рогову было для Кретова особым наслаждением, потому что маленький Рогов боялся. По большей части их беседы происходили в лесу, куда Кретов уходил в шесть утра и долго блуждал какими-то своими, заповедными тропами. После его смерти Рогов не раз пытался пройти тем же маршрутом, но выходил всякий раз в скучные, прозаические и давно известные места – он постоянно пропускал развилку. Только Кретов знал, куда повернуть, чтобы после трехчасового петляния и блуждания по грибному осиннику выйти вдруг на крутой обрыв, с которого открывалась недостоверной

красоты деревушка на берегу реки, с церковью и краснокирпичным зданием, похожим на станционное, – без всякой, однако, железной дороги. Только Кретов однажды привел Славу Рогова в земляничник, про который наказывал никому не говорить, – на огромной поляне среди густого елового леса двенадцатилетний Рогов увидел столько ягод, сколько не встречал никогда ни до, ни после. Это было то самое, сказочное: «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится». Он отлично помнил дорогу, но, сколько ни ходил потом, все сворачивал в какое-то болото. Надо было долго идти вдоль высоковольтной линии, потом свернуть у старого пня, расколотого когда-то грозой (Кретов говорил, что лично видел молнию, ударившую в пень), пересечь широкую, длинную заросль желто-белых цветов с горьким запахом, от которого болела голова (Кретов называл их медуницей, хотя настоящая медуница, красно-синяя, была совсем другая), некоторое время идти вдоль этой заросли (Кретов говорил, что это заросший след наполеоновской армии, отступавшей от Москвы именно этим путем) – и потом свернуть направо, а там уже и начинался заветный ельник. Но Рогова всякий раз не пускала туда какая-то сила, с которой Кретов умел сладить сотней мелких заклинаний и ритуалов. Он всегда присаживался перекусить на один и тот же пень, доставал бутерброд из черного хлеба с венгерским салом, а перед входом в ельник, кряхтя, бормотал про себя одно и то же: «Эхма, была бы денег тьма, купил бы баб деревеньку да и драл бы их помаленьку». Рогов на полном серьезе пытался копировать его, повторял и про баб деревеньку, но никогда больше не видел земляничной поляны.

Родители отпускали его с Кретовым легко, хотя отец и ругивался беззлобно, называя геологические россказни бредом. Для маленького Рогова именно эти россказни были первой отечественной историей, как дача была первой родиной. Это была Родина билибинская – с острыми еловыми верхушками на алом закате, с буреломом, с паутиной, липшей к лицу. Там желтые березовые листья были похожи на грибные шляпки, там легко было представить брошенную, а на деле обитаемую невидимыми существами избу (про такие избы, рассыпанные по тайге, часто рассказывал Кретов). Там, за поваленным бурей деревом, упавшим как будто куда попало, без всякого закона, вдруг начинался совсем другой лес, словно этот рухнувший дуб и обозначал границу другого мира. В том мире, который Кретову был известен и открыт, а Рогову в одиночку недоступен, было огромное черное озеро в глубине светлого, дружелюбного березняка, и Кретов всерьез уверял, что дна у озера нет, специально искали они вдвоем с приехавшим товарищем – выплывали на резиновой лодке на середину, производили замеры и ничего не нашли. А однажды, еще в семьдесят пятом, когда сам Кретов только-только купил тут участок (на котором, кстати, проводил весь год, кроме зимы, уютно устроившись в бревенчатом доме, питаясь кашей из

разных круп и куря свою носогрейку), – однажды он нашел в этом озере обломок доски с выгравированными на ней буквами «The Em», что могло означать только «The Empire», название славного британского фрегата, утонувшего у берегов Америки в середине прошлого века; и говорило это, конечно, о том, что в черном озере была дыра насквозь. Рогов умолял показать ему эту доску, но Кретову, увы, пришлось сжечь ее в своей голландке прошлой холодной осенью. Тем не менее он успел показать ее другу, и в Москве он непременно познакомит Рогова с этим другом, чтобы тот подтвердил.

Однако в Москве они отчего-то никогда не встречались: здесь была совершенно другая жизнь, которая удивительным образом начиналась сразу после пересечения кольцевой. Не успевал маленький Рогов в отцовской «Волге» проехать мимо огромных букв «Москва», встречавших их на въезде в город, как весь дачный мир с его чудесами отодвигался непонятно куда. Кретов мог существовать только в той жизни, как глубоководная рыба на километровой глубине. Вытащенный оттуда в обычную московскую жизнь, где были школа, ежедневная газета и горячая вода, он тут же потерял бы все свое очарование, поблек и, возможно, испарился. Он был представим только в высоких болотных сапогах, клетчатой ковбойке, старом пиджаке и непременной шляпе, обязательно небритый, в сивых усах, лучше бы с огромной плетеной корзиной, которая, как он уверял, сама притягивала грибы и тащила его в грибные места. Кретов слушался корзины, и Рогов лет до восьми всерьез верил, что это она, как компас, ведет его единственно верным путем.

Кретовские рассказы были неиссякаемы, и Рогову, который быстро взрослел, никогда не становилось с ним скучно. Иногда Кретов запускал его на свой чердак, где с незапамятных времен лежали у него в огромном пыльном мешке журналы «Вокруг света» и никогда потом не встречавшийся Рогову даже в хороших библиотеках «Сибирский следопыт». Там при свете карманного фонарика (на чердаке было темно, только пыльные лучики жаркого дня проникали сквозь щели меж смолистыми досками) Рогов перечитал тьму фантастических историй, которые в таком множестве писали в двадцатые годы. В этих историях был бодрый дух исканий, смесь наивной научной деловитости и счастливого авантюризма. Так видели мир хозяева первых радиоприемников, сосредоточенные очкастые мальчики, которые непременно построили бы новый мир, если бы их всех не перебили. После одной такой истории, впрочем, Рогов не спал две ночи. Он был мальчик впечатлительный и на всю жизнь запомнил странный рассказ (к сожалению, ему было тогда не до фамилии автора, у тогдашних книг в его сознании вообще не было авторов – зачем?), – некий американский ученый открыл способ оживлять казненных на электрическом

стуле. Ему дали для эксперимента банду из шести жестоких убийц – пятерых мужчин и одну женщину. После казни надо было выждать три часа (почему три часа? для чистоты эксперимента, чтобы уж никакой жизни в них не осталось? или чтобы с душой произошли какие-то необратимые перемены, вследствие которых она осознала бы всю мерзость убийства?). Потом профессор с красивой лаборанткой, изображенной тут же на густо зачерненном рисунке тушью, производил надрезы на ступнях убитых, вставлял туда электроды, делал какую-то инъекцию, включал ток… и трупы медленно оживали, приподнимались на своих стерильных кушетках и оглядывались мутным, ненавидящим взглядом, словно не в силах простить того, кто вернул их в эту юдоль скорби и порока. Таинственный профессор отселял воскресших убийц на пустынный остров, выкупленный в личную собственность (очевидно, деньги на приобретение острова он скопил, продав людям для отвода глаз какой-то из побочных эффектов своего утаенного открытия, – например, оживляющее вещество, которое он вводил убитым, могло также осветлять волосы). На острове-то и разворачивалось самое интересное, потому что шестеро убийц – пятеро мужчин и женщина – начали среди дикой природы строить новый мир, непохожий на наш, строить по тем законам, которые открылись им в страшные три часа, когда они были уже не здесь и еще не совсем там, – и автор, восклицая: «Но какой это был страшный мир!», умолкал до следующего номера. Этого-то следующего номера в кретовском мешке не было, и сам Кретов не знал, что случилось дальше. Вероятно, этот журнал он извел на растопку, потому что периодически залезал на чердак за бумагой для своей печурки, и на ритуал растопки Рогов тоже иногда приглашался. Ему невероятно жаль было исчезавших в огне журналов, за которыми следовали крепкие, звонкие березовые дрова (Кретов ходил за ними в лес с удобным, как все его вещи, топориком), но радость от растопки стоила того. Маленький, а потом и не такой уж маленький Рогов с наслаждением смотрел, как с одной спички схватывается вся печь, как от умело уложенной бумаги огонь ползет все выше, по коре, бересте, – и, наконец, как ровное гудение слышится в кретовской клетушке, по стенам которой пляшут тени.

Все, что рассказывал Кретов, было волшебно и достоверно, и все в его доме было так же полусказочно. Там стоял огромный ламповый приемник со шкалой, на которой таинственно поблескивали названия городов: Москва, Рим, Стокгольм. Там был и старый, давно не работающий телевизор «КВН» с огромной линзой, посредством которой Кретов учил Рогова добывать огонь (огонь добывался); было множество старых, громоздких, но добротных вещей, и вся советская жизнь представлялась Рогову громоздкой, таинственной и добротной, как эти вещи. Тут ничего не было прочного, кроме нее, и потому после нее

стояло и работало только то, что было придумано или произведено при ней.

Эта жизнь, как и сам Кретов в его не знавших сноса сапогах, в его коробом стоявшем тулупе, который он надевал ближе к осени, выходя погулять по вечерам, – эта жизнь находилась в таинственном завете с окружавшей природой и одна умела с ней договариваться. Она потому и победила всю эту природу, заставила ее служить себе, что была одной с ней крови и одного замеса, так же естественна и так же органически бесстыдна. Она не знала никакого закона, кроме закона жизни, и слепо следовала ему. Поэтому-то, пока эта советская жизнь была могуча и молода, она с такой легкостью подчиняла себе льды и леса, камни и пустыни: они договаривались, и меньшая сила уступала большей. Все, сделанное при этой советской жизни, было как природа – величественно и таинственно и всегда обладало каким-то дополнительным, секретным предназначением, помимо основного. По приемнику Кретова можно было ловить не только наши, но и вражеские голоса; больше того, Рогов был вполне убежден (хотя никогда не спросил об этом Кретова напрямик), что при случае по этому приемнику, как по рации, можно было бы связаться и с какой-нибудь большой землей – если бы они все, жители дачного поселка, оказались вдруг на малой, то есть, например, в особо дождливое лето их затопило бы. Именно для этих целей служила огромная суставчатая антенна, валявшаяся на чердаке и похожая на ус страшного с виду, но полезного и добродушного жука. Там же нашелся старый телефон, огромный, из плотного тяжелого эбонита, с матерчатым, а не резиновым даже шнуром, на срезе которого поблескивали желтые точки проводков круглого сечения. Но и телефон этот был вполне дееспособен и, даже будучи отключен от линии, мог соединить с кем-то, кому нельзя было дозвониться по линии. Каждая советская вещь имела двойное дно, иногда доброе, иногда злое, но в таких категориях мыслить не следовало. Было не доброе и не злое, а жизнеполезное и жизнеопасное, и даже не так, потому что и жизнь не была высшей ценностью. Было правильное и неправильное, но что правильно и что неправильно – мог знать только посвященный, а может быть, и никто, кроме того, кому можно было дозвониться по отключенному телефону. И маленький Рогов брал трубку и слышал в ней шорох. Он услышал бы и голос, но всегда боялся и швырял трубку на рычаг, а потом долго гладил ее, надеясь выпросить прощение.

В Империи, как она представлялась Рогову, стояла вечная ночь. Представление это, по-видимому, сформировалось не без влияния единственной довоенной книжки, которая была у них в доме, – полярных дневников Кренкеля. Книжка была черная, со множеством карт и иллюстраций, и дело в ней происходило главным образом полярной ночью; в Империи все самое главное тоже делалось

по ночам. Эта полночная страна рисовалась Рогову в виде огромной живой карты, на которой таинственно перемигивались телебашни, радиовышки, кремлевские звезды и летящие в низких тучах военные самолеты. Там шла гайдаровская, добротная и загадочная жизнь: по засекреченным адресам отбывали поезда, в которых пили чай немногословные светловолосые военные. Глубоко под землей строили метро – не то, карта которого висела у них в прихожей, а тайное, резервное, на какой-то особенный случай. Летчики в кожаных куртках с белыми меховыми воротниками, в шлемах с наушниками, в защитных очках толстого стекла направляли самолеты в пике прямо на льдины, успевая подхватить полярников. Все было черное и белое: ночь и зима стояли в Империи; только поезда были голубые, а самолеты – зеленые.

Детское ощущение огромной бодрствующей страны не оставляло Рогова и после: он любил ночевать в поездах, легче засыпая оттого, что за окнами, на пролетающих мимо станциях, кто-то контролировал движение составов, связывался с Москвой, рассылал загадочные сообщения. На красных станционных зданиях горели белые ртутные лампы в жестяных конусах. На самом пустынном разъезде обязательно сидел специальный человек, осуществляя тайную связь, посылая сигналы, участвуя в непостижимом общем деле.

Эта же советская жизнь, только более позднего образца, была на обложках старой «Юности», которую Рогов стал почитывать на том же чердаке лет в пятнадцать. В шестидесятые Кретов выписывал многие журналы – геологам хорошо платили. Получал он сразу по пять-шесть номеров: они дожидались его на почте, пока он в своих болотных сапогах пропадал в экспедиции. С каждой обложки смотрели огромные пустые пространства: то опоры ЛЭП-500 ровной, беглыми штрихами намеченной цепочкой уходили в снежную даль на фоне идеально круглого, красного закатного солнца; то лыжники в голубых шапочках, он и она, скользили по замерзшей глади неведомого водохранилища; то рыбаки в таких же вязаных шапочках выбирали из сети рыбу у огромного сине-зеленого моря; то лопасть вертолета, бросая синюю тень, зависала над тайгой. Картинки занимали только половину обложки, и за их границей угадывалась какая-то бесконечность, но человек не терялся в ней, ибо знал к ней ключи и был того же нрава, так же мало ценил свою жизнь, как и она.

Теперь Империя исчезла, и природа задним числом мстила ей, расправляясь с нею так же легко и нерассуждающе, как и та когда-то с природой. В лесах Рогов все чаще находил брошенные железные предметы непонятного назначения:

иногда в них еще угадывался остов старой печки, труба, трансформатор, но чаще это была уже просто груда ржавчины, медленно уходившая в землю. Этот умирающий предмет был даже интереснее, чем мог он быть в своей силе и славе, потому что как раз теперь он был и не печка, и не трансформатор, а что-то совсем другое, и, возможно, теперь из него начало бы торчать второе, тайно заложенное предназначение. Но целомудрие и детский страх смерти мешали Рогову толком его рассмотреть.

До самой армии Рогов проводил лето на даче, редко-редко выезжая с матерью на юг, когда в семье были деньги. После второго курса ему предстояло служить – студентов все еще брали, он угодил в последний призыв. Армии он боялся страшно, как все интеллигентские дети, и каждый поход с Кретовым казался ему последним. Призывался Рогов с другими студентами (сессию милосердно давали досдать – порадуйся напоследок!) под самый занавес набора, в июле, и уже вручена была ему под расписку последняя, окончательная зеленая повестка, в которой неотвратимее всего были слова: «Приходить помытым и опрятно одетым». Непомытый и неопрятно одетый он не годился в пищу. Как назло, июль был прекрасный. Грибам еще не вышло время, и они с Кретовым просто ходили по лесам, собирали землянику и редкую в Подмосковье костянику, понемногу выпивали. Кретов всегда брал с собой старую, такую же добротную, как все его вещи, фляжку, – но прежде он Рогову не наливал, а теперь делился.

Шел восемьдесят девятый год – время больших разоблачений. Рогов был историк и внук репрессированного, поэтому читал много и с жадностью. Странно, что о репрессиях Кретов говорил мало, о всеобщем страхе вообще не упоминал и сам, казалось, его не испытывал. В таинственной и праздничной советской истории, похожей в его изложении на густую морозную ночь с гирляндами огней, страху не было места – вернее, то был именно детский святочный страх, ничего общего не имевший с серым ужасом очередей.

– И все-таки я не понимаю, – сказал однажды Рогов. – Может быть, для поддержания страха… или для разгрома оппозиции… действительно нужны были аресты, но не в таком же количестве? Не в том масштабе?

– А кто тут судья? – спросил Кретов, вкусно надкусывая неизменный свой бутерброд. Он сидел на пне, широко и прочно расставив крепкие ноги в сапогах и примостив рядом волшебную корзину, которую брал с собой, даже когда грибов явно еще не было. – Ты думаешь, они брали для страха? Или чтобы

народу поменьше было? Я тут прочел, что Россию только тогда и можно накормить, когда половина ест, а половина сидит и бесплатно пашет. Ну не чушь ли собачья? Да Россия могла бы весь мир кормить, если б хотела… Очень ей это надо – кормить.

– Но тогда зачем? Какой смысл? – Рогов немного захмелел по молодости и стал разговорчив. – Понимаете, дядя Леша… Ну пусть бы брали самых талантливых, да? Но и этот критерий не работает. Сколько бездарей погибло. Сколько мрази, которая сама стучала, а потом попала под те же колеса. Хорошо, допустим, что гибнет потенциальная оппозиция. Но смотрите, сколько взяли вернейших! Ладно, представим, что берут именно вернейших, что он хочет вернуть Империю. (Слово «он» в их разговорах давно означало только одного человека, и расшифровка не требовалась.) Но тогда чем объяснить уничтожение почти всей интеллигенции, которая была тайно против? Я не вижу принципа. Не могу понять, по какому параметру он отсеивал…

– Так и не было параметра. – Кретов спокойно вытер рот и по вечной своей привычке провел большим пальцем по усам. – Не было, Славушка. Ты ведь неглупый малый, мог бы и сам дотумкать. Ты думаешь, он тех брал, а этих не трогал? Бред, голубчик. Он брал ВСЕХ.

– В смысле?

– В том и смысле. Всех, без исключения.

– Но ведь вы же уцелели? Да две трети уцелели…

– Он просто не успел. Если бы он прожил еще год, друг милый, система была бы закончена. Он же фильтровал, пойми ты это. Одних выпускал – эти, значит, ни на что не сгодились. Других совал в лагеря. А третьи… про третьих разговор особый, тут мне самому не все ясно. Не время про это говорить.

Кретов был великий рассказчик и знал, на чем прервать разговор. Он всегда рассказывал страшное в несколько приемов, и его приходилось долго упрашивать, чтобы он вернулся к теме, – но и это входило в условия игры. Как раз теперь небо над ними потемнело, повеял ветерок, и, вместо того чтобы углубляться в любимый ельник, приговаривая про денег тьму, Кретов направился обратно. Он жаловался на боль в ногах, хотя шел по-прежнему

ровно, без хромоты и одышки.

– Нет, но все-таки, дядь Леш? – спрашивал Рогов, поспевая следом. – В чем смысл-то?

– Вот почему сейчас в армию всех подряд стали брать? Раньше же тоже студентов не брали, а теперь тебя марш-марш – и в сапоги. Почему? – не оборачиваясь, спросил Кретов.

Рогов любил его и за то, что он говорил об этом «марш-марш – и в сапоги» легко и естественно, словно ничего особенного в армии не было, подумаешь, две зимы и две весны. Дома его кормили лучшими блюдами и разговаривали осторожно, соглашаясь во всем, как с покойником, и это Рогова пугало и злило дополнительно.

– Служить некому, – с усмешкой ответил Рогов.

– Да чего сейчас служить-то, кому мы нужны? Или у нас враг новый объявился? Не смеши… Или ты думаешь, что они армией будут прежний порядок наводить? Да какой же порядок наведет такая армия, а главное – у кого там наверху хватит сейчас пороху на такое дело? Нет, Славушка, это примерно то же самое, но в других масштабах. Поняли, черти, что он дело говорил.

– Да что за дело-то, дядь Леш? – не выдержал Рогов. – Всех пересажать – и все дело?

– Проверить, Слава, проверить, – терпеливо, как второгоднику, повторил старик. – Не пересажать, а всех посмотреть на свет. Знаешь, как нефть делят на фракции? Она тоже небось думает: и зачем ее добывают и потом мучают, так хорошо было в подземке-то… – И он пустился было в рассказ о нефтедобыче, которую знал как никто, потому что все шестидесятые годы провел в Западной Сибири.

– И что, дядь Леш, – не отставал Рогов. – Вы думаете, если б не помер – так пропустили бы через эту мясорубку всех?

– Да ведь вагоны уже стояли, – ответил Кретов, с неудовольствием отвлекаясь от нефти.

– Где?

– А ты не знал? На всех вокзалах. Развозить народ. С пятьдесят второго года.

– Да зачем, чего ради?! – почти выкрикнул Рогов, впервые отчаиваясь понять. – Работать, что ли, стало некому? Уран был нужен для бомбы? – Он навскидку припоминал все самые свежие мифы, но объяснения не находил.

– Да чтобы выбрать кого надо, смешной ты человек! Ну как ты в обычной жизни выберешь кого надо? Нешто тут человек на виду? Вот погоди, ты вернешься – поговорим. Специально доживу, тебя дождусь. Тебе не понять сейчас, извини уж – не понять.

– А вернусь? – криво усмехнувшись, спросил Рогов, в душе уверенный, что его забьют ногами в сортире свои же сопризывники на другой день. Он много всякого слышал об армии и, хотя не жаловался на силу и выдержку, не выносил коллектива, распорядка и скуки. Ужаснее всего была непредсказуемость запретов, бессмысленность тысячи мелких ритуалов, цель которых, казалось, была только в воспитании повиновения.

– Вернешься, – уверенно сказал Кретов. – Я и бутылку припасу, разопьем в день возвращения. Тогда поговорим.

И Кретов не соврал. Он всегда откуда-то все знал. Через год их отпустили – вышел указ о возвращении студентам брони. Рогов отчасти даже жалел о таком скором избавлении: он чувствовал себя не демобилизованным, а комиссованным, помилованным – словно его покатали во рту, надкусили и выплюнули. Все самое трудное он успел перенести, а плоды этого годового терпения ему уже не достались.

Он всю жизнь, с самого раннего детства, ощущал себя чем-то вроде моста между домашней и внешней жизнью. Дома он, поздний и единственный ребенок, был окружен деспотической и в то же время робкой любовью; дома все было

слабо, хрупко, ломалось, шаталось, держалось на честном слове. За стенами квартиры шла другая, куда более суровая жизнь, и она была для Рогова менее мучительна, чем домашняя, – как и зима была для него легче осени, потому что осень выглядела промежутком, межеумочным временем колебаний и тягостного ожидания, а зима бесповоротна: худшее наконец наступило, и его можно уже не бояться. Армия была легче, чем ожидание армии, и жизнь в ней была простая, безусловная, в отличие от тонкой, зависящей от тысячи оттенков жизни домашней. Там все боялись друг друга ранить, а здесь никто никого не берег – все было честней, голей и ближе к действительности. Можно было не врать. Рогов старался не вспоминать о доме – это разжалобило и ослабило бы его; он мучительно тосковал по отцу и особенно по матери, и жалость эта была тем надрывнее, чем беспомощнее казались они отсюда. Рогов был другой породы, он мог выдержать.

Дом, на армейский взгляд, выглядел царством слабости, и при мысли о нем вспоминался отчего-то осенний синий, слезливый вечер, окно в дождевых потеках, мать, зовущая ужинать… Все были добры, слабы, робки, и вся эта жизнь была одной мучительной условностью. Правдой были тьма и стужа, и лучше было не оттягивать неизбежного момента, когда они станут единственной реальностью. Они и стали, хотя до имперской тьмы и стужи этой армии было куда как далеко.

В армии, как ни странно, у него было много времени, чтобы думать. Это было единственное, чем он мог занять себя, потому что массу никому не нужной работы и бессмысленных строевых упражнений выполнял не он. Он только пытался вывести для себя законы мира, в котором оказался. Для него, историка, это был любопытный, хотя и несколько затянувшийся эксперимент. Бессмысленно было все, бессмыслицу приняли как условие игры, которое не обсуждалось. Наказания и поощрения также не мотивировались ничем, поскольку деды не снисходили до мотивации. Любимцем роты необязательно становился остряк и силач, изгоем далеко не всегда оказывался слабейший, и сам Рогов, к великому своему удивлению, не только не был убит в первый же день за неуместную задумчивость, но благополучно дослужил свой год почти без серьезных стычек. Перед ним был принципиально иррациональный мир, в котором беда прилетала ниоткуда. Здесь бессмысленно было делать добро, выглядевшее признаком слабости, и так же бесполезно – творить зло, которое в силу тысячи случайных причин не успевало осуществиться. Здесь, как и в природе, не было добра или зла, но была возможна только последовательность, поскольку все другие критерии оказались утрачены. Последовательный неучастник в тотально непоследовательной игре, Рогов уцелел. Ему достаточно

было хоть раз открыть рот, чтобы заступиться за травимого или одернуть наглого, – и его оборона была бы разрушена, но он ни на секунду не перестал быть наблюдателем и даже толком запомниться никому не успел. Зато ему запомнились многие.

Пополнять коллекцию таинственных возвращений здесь не удавалось, но думать о механизмах отбора во время репрессий он не переставал ни на минуту и выработал целую теорию: случайность, непредсказуемость повода стала ему казаться главным признаком Божественной воли. Волю, управляемую обычными человеческими правилами, нельзя было уважать. Сержанта чтили исключительно до тех пор, пока он мог потребовать чего угодно, в том числе сверх устава, хотя и сам по себе устав, если следовать ему детально, был олицетворением абсурда. На свое счастье, Рогов не должен был никем командовать. Он попал в связистскую учебку и благополучно провел последние пять месяцев службы на узле связи. Это не освобождало от периодической ссылки в роту, от строевых смотров и забегов, но в целом служба была сравнительно легкой. Раз в три месяца мать приезжала к нему, и всякий раз ему надрывали сердце ее вопросы о службе. Он не мог ей объяснить, что мир этой службы описывается в иных категориях, нежели добро, зло, жалость и прочая. Единственное, чем он мог утешить мать, – это сказать ей, почти не соврав, что кормят прилично. И действительно, могло быть хуже.

В армии выработалась у него привычка подолгу задумываться, молчать, иногда вполголоса разговаривать с самим собой; эта привычка была осознанной и ничем ему не грозила. Другая, неосознанная, была страшней: он окончательно привык отсчитывать от нуля, уверившись в том, что ни на кого надеяться не следует, что есть только сила – и сила эта сильна до тех пор, пока мотив ее неясен и действия непредсказуемы. Именно в армии ему стала отвратительна слабость во всех ее видах – и не вступался за травимого он не из одной трусости. Трусости, собственно, и не было. Он так же понимал бесполезность заступничества, как его безумная бабка Марина. Жертва могла выжить только одним путем – последовательно оставаясь жертвой, сживаясь с этой ролью и находя в ней наслаждение; такую жертву никогда не добивали до конца, ибо она была нужна снова и снова. Самое изощренное мучительство, проистекавшее отнюдь не только от скуки, а скорее оттого, что в пространстве казармы человека ничто не отвлекало от его истинной природы, основывалось на том, чтобы никогда не домучивать до известного предела, который палач и жертва чувствовали обоюдно. Вмешаться в этот расклад – значило нарушить чистоту жанра. Если жертва начинала бунтовать – жалко, как всё, что она могла делать, – это не вызывало уважения, а лишь усугубляло презрение, как любая измена. Здесь же,

в армии, Рогов понял, что измена условному злу в пользу условного добра – точно такое же предательство, как всякое иное. Империя потому и была империей, со всем своим величием, с победой над природой, с изготовлением прекрасных, громоздких и добротных вещей множественного предназначения, что упраздняла добро и зло, деля всех на последовательных палачей и столь же последовательных жертв, и в этом была ее несравненная, ностальгически милая цельность.

О последнем разговоре с Кретовым Рогов не думал и на дачу в первое послеармейское лето тоже не поехал – как ни соблазнительна была перспектива распить со стариком его бутылку, хотелось оттянуться на юге. Да и бутылки, наверное, никакой не было.

Но бутылка была, и распили они ее с Кретовым совсем не так, как оба предполагали летом восемьдесят девятого. В девяносто первом у Рогова умер отец, и на дачу никто из семьи не ездил. Там все напоминало о нем, все было сделано его неумелыми худыми руками, вопреки судьбе, желанию и здравому смыслу. Старая «Волга», все еще бегавшая, тоже была отцовская, и сел в нее Рогов только в октябре – надо было по-ехать на дачу, как всегда перед зимой, и развинтить водопровод, чтобы при наступлении холодов замерзшая вода не разорвала трубы.

Дача имела вид запущенный и жалкий, и отвоевывать ее у природы было так же бессмысленно, как просить за Скалдина или вступаться за рядового Массалитинова с его огромным носом и страдальческим взором. Трава заполонила участок, но в свою очередь сдалась заморозкам и пожухла. Заходить в дом было слишком тяжело: все вещи в нем были слабы и умоляли о защите – но для них нельзя было ничего сделать. Рогов развинтил трубу, перекрыл воду, проверил замок. Все выло, все просило зайти и хотя бы погладить, потрогать, хоть как-то напомнить вещам, что они не забыты, не окончательно брошены, – но себя было жальче. Рогов вспомнил любимую фразу когдатошней своей пассии, девочки с биофака: «Высшие формы жизни имеют предпочтение». Она сама полагала себя высшей формой жизни и потому кинула Рогова очень быстро, а предпочтение получил третьекурсник МГИМО, растоптавший ее так, что она за всю жизнь не собрала костей. Рогов помнил об этом и не любил разговоров о высших формах жизни, но сейчас высшей формой был он, и растравлять себя видом несчастных вещей и пыльных поверхностей не было никаких сил.

Имущество тут было не кретовскому чета – ломаные, сосланные на доживание вещи шестидесятых и семидесятых годов, вообще удивительно хлипкие, хоть и с претензией на изящество, – как, впрочем, и люди тех времен. Рогову было жаль эти предметы и тогда, когда их сюда свозили, и он словно видел их молящие улыбки – мы сгодимся, мы послужим… Теперь, когда в дом за все лето никто не приехал, от них вовсе не было толку, и они должны были окончательно отчаяться. У Рогова не было сил утешать дом прикосновениями и заполнять собственным хилым теплом. Дому предстояла зима, но вещь – она и есть вещь, и летом хозяева приедут снова. Так уговаривал он себя и свои вещи. Он съел горсть рябины, уже сладкой после первого холода, и подумал, что по-настоящему сейчас хорошо бы выпить, именно и только выпить.

Тут он заметил дым, поднимавшийся из трубы соседнего дома. Кретов еще не уехал. В пустом дачном поселке он остался один, топил печь, ходил в лес, выпивал, вероятно. Рогов постучал, и старик не удивился.

– Чего не приезжали в это лето?

Рогов рассказал про отца.

– Жалко, хороший мужик был, – просто и естественно, как всегда, сказал Кретов. – Что ж, ты теперь за хозяина. Не женился?

– Собираюсь, – признался Рогов.

– Что не привез?

– Да что ей сейчас тут делать…

– Это дело, это дело… Ну, по маленькой?

Кретов брал водку в ближайшем городке, до которого раз в месяц добирался на электричке, покупал сразу много и настаивал – на чесноке, сельдерее, перце. Получавшаяся настойка сочетала в себе выпивку и закуску. Рогов с наслаждением хряпнул стопку и заел венгерским салом.

– Как служилось? Мать вроде говорила – не жаловался?

– Не жаловался, сносно. Я думал – хуже будет…

– То-то. Глаза боятся, руки делают. Не стесняйся, закусывай, я запасся.

Кретов подбрасывал дровец в печку, рассказывал, как один сумасшедший на участке завел двенадцать коз, а Рогов пил, не задумываясь особо, как будет возвращаться. Он водил прилично, дорога была пустая, а выпить ему сейчас требовалось, тем более что погода установилась на редкость промозглая. Добро бы настоящие холода – но они всё не наступали, а вместо них стояло серое, сирое не пойми что.

Коротко поговорили о путче, Кретов весь его пересидел на даче, слушая радио, и расспрашивал о подробностях, но Рогов путчем не озаботился. Во-первых, он не выходил из дома, чтобы не пугать мать, а во-вторых, был все-таки историком, уже четверокурсником, и понимал, что из подобной затеи ничего выйти не могло. Шум вокруг августовской победы только раздражал его, а последствия могли оказаться хуже всякого путча – победители получили карт-бланш, о котором не смели и мечтать.

– Вот и я говорю, – удовлетворенно поддакнул Кретов. – Если бы кто сейчас и мог взять власть… да их, верно, не осталось никого.

– Подпольный обком? – спросил Рогов. – Стальная когорта? Золотая рота?

– А ты не смейся. – Старик, кряхтя, налил себе и ему. – Помнишь, был у нас с тобой разговор насчет того, как нефть делят на фракции?

– Помню. Перед самой армией.

– Так вот. Я объяснял тебе тогда, да ты не врубался. Посадки-то эти для чего нужны были? Ты, небось, наслушался: армия бесплатных рабов… Нет, голубчик, они бы и на обычных своих местах пахали как бесплатные рабы. Все это, Слава, был один большой фильтр, так я понимаю. И задача его была одна – отфильтровать тех, кто в случае чего и войну отразит, и страну поднимет, и мир завоюет. Прикидываешь?

– Это как же отфильтровать?

– Да очень просто, милый. Проще не придумаешь.

– Кто выживет, что ли?

– Не-ет, кто выживет – те второй сорт… – Кретов разгладил усы большим пальцем правой руки. – Те жилистые, конечно, крепкие ребята, но они слабину дали – себя оговорили. Им веры мало. Подписал на себя показания, еще пару-тройку человек сдал – и ту-ту, поехал жопой клюкву давить. Эти годятся на исполнителей – максимум. А первый сорт, элита – те, кто ничего на себя не подписал. Ни единого словечка не признал. Не оговорил никого под пытками. Как ему еще было проверить население? Гитлер в Германии вовсю пытает своих, крепчайшие коммунисты ломаются, война неизбежна – как тут разберешь, кто сможет такой махине противостоять? Он и отбирал – жестоко, конечно, но если вдуматься, так способ его был не худший. Нет, не худший.

– Не может этого быть, – сказал Рогов не очень уверенно. – Ведь единицы же выдержали, остальные сломались…

– То-то и оно, что единицы. – Старик поднялся пошуровать в печке. – Единицы, а зачем ему остальные были нужны? Он так и решил для себя: остальных – не жалко. Если они все такие гнилые, с ними не то что светлого будущего – прочного настоящего не построишь. Вот и стал делить на сталь и шлак. Большинство – в лагеря: лучшего недостойны. Он бы всех потихоньку туда переместил. Жили бы как в Камбодже при Пол Поте. Ты обрати внимание, что он ведь и окружение начал фильтровать: в последние годы под Берию подкапывался, на Молотова орал… Мы-то знали, как он на девятнадцатом съезде ярился. Передали только официальную его речь, маленькую, – доклад Маленков делал, а он потом на закрытом совещании еще три часа говорил! В семьдесят-то лет, прикинь… Он потому и тасовал их как хотел. Ягоду снял, расстрелял. Ежова снял, расстрелял. Берию не успел.

Чтобы избавиться от наваждения, Рогову понадобилось встряхнуть головой и заново осмотреть давно знакомую обстановку кретовского жилья – стол, печь, диван. Все было прежнее, никакой мистики. Но то, что говорил старик, выглядело не просто убедительным – все это совпадало с роговскими армейскими догадками, таимыми даже от себя.

– Ладно вам, дядь Леш, – сказал он без особенной уверенности. – Эта вся мясорубка не при нем началась, не на нем и кончилась. Что ж, Брежнев диссидентов тоже фильтровал?

– Да Брежнев разве так фильтровал? – Старик махнул рукой и подбросил еще дровец.

– Ну черт с ним, с Брежневым. Но началось-то все при Ленине!

– О! – Кретов поднял палец. – Но заметь: при Ленине-то принцип прослеживается очень четко. Берут дворянство, так? Берут интеллигузию. Пусть без повода, пусть в заложники, – но не берут же они в заложники какого-нибудь еврейчика из черты оседлости, пьянчугу из рабочей слободы? Они хватают очень даже конкретную публику. И Сталин видит, как вся эта публика, еще вчера державшая в руках страну, учившая жить, писавшая во всякие журналы, на глазах обделывается! Да это что ж такое, господа хорошие? Хоть посопротивляйтесь для порядку! Нет – идут под нож и еще мучаются чувством вины. Тут он и понял: с нормальным народом, с прежними спецами никакой сверхдержавы не построить. Сверхстрану должны строить сверхчеловеки. А иначе – ну сам ты посуди, зачем через двадцать лет после революции перелопачивать всю Россию? Это он понял: подготовительный этап закончился, начали возводить башню… Отцеживать спецконтингент.

Рогов все еще не принимал этой гипотезы всерьез, но здравое зерно в ней было – пусть даже исполнители сами до конца не понимали, что творят, но подспудный импульс вполне мог быть таков. Когда на их глазах кололся маршал, ползал по цементному полу недавний вершитель судеб, сдавал жену и детей любимый партийный фельетонист, даже самый тупой следователь не мог не испытывать, помимо обычной плебейской мстительности, еще и удовлетворения более высокого порядка – от исполнения какой-то высшей справедливости. Если такая гниль учила их всех жить или стояла во главе армии – так ей и надо! Кретовская догадка одна позволяла объяснить тотальность посадок и расстрелов, масштаб и непредсказуемость очередных кампаний, которые – как он знал теперь из документов – к пятьдесят четвертому году и впрямь коснулись бы всех уцелевших.

– И куда же они девались? Те, кто не подписывал?

– Вот это уже вопрос! – Старик назидательно поднял палец. – Это главный вопрос! И вышло так, что я знаю ответ. Я, видишь ли, в сорок седьмом разведывал нефть под Омском. Нефти там, конечно, никакой не оказалось, так что я уж готовился к разносу, а то и к чему похуже. Тогда ведь всем клеили вредительство – я не знал еще, что ярлык этот только для виду. И один местный житель, у которого в избе я стоял, мне рассказал, что где-то под Омском есть поселение тех, вроде как расстрелянных, а на самом деле туда тайно свезенных. У него кум там на строительстве работал. Построили поселок, немаленький, с хорошую воинскую часть, – верстах в десяти к северу от деревни. Там уже тайга еле проходимая. И с тридцать седьмого года стали туда свозить отфильтрованных, со смертными приговорами. Они для всех переставали существовать, и тут уж их должны были готовить по-настоящему.

– К чему?

– Кого к чему. По склонности. Одних – в какой-нибудь отряд смертников, так я полагаю. Других – в штабы, в военную элиту. Третьих – руководить производством в тылу, пуп рвать, но патроны давать… И знаешь – они-то ведь и выиграли войну! Они и есть те неизвестные солдаты. Ты думаешь, население в массе своей было готово так отражать нашествие? Население мне рассказывало, когда я под Питером был, что при немцах было очень даже замечательно. Порядок, и жидов меньше. А как наши перебегали к немцам? Правы были эмигранты: ни у одной армии мира не было столько дезертиров. Дивизиями в плен сдавались. А этих Сталин берег как главный резерв, они в декабре и повернули ход войны. Помнишь сибирскую дивизию?

– Помню, – машинально сказал Рогов.

– Эти сибиряки и спасли положение. Как их ввели в бой – мигом все наладилось. Думаю, то омское поселение было не единственное.

Рогов хотел было спросить, откуда Кретов знает насчет сибиряков и что, собственно, сам он делал во время войны, но чувствовал, что эту тему трогать не стоит. Это было единственное, о чем старик не заговаривал никогда. Будет время – сам расскажет.

– А памятник в Александровском саду – ты думаешь, это неизвестному солдату? Дудки: они и были неизвестными солдатами. Секретный резерв смертников,

которым возвращаться было некуда. Ну а кто выживет – тому домой. Прикидываешь, почему была нужна эта формулировка – «десять лет без права переписки»? Кто-то все равно должен был вернуться. Не может так, чтобы всех. Сталин прикидывал, что за десять лет – с тридцать седьмого-то – и с войной, и с восстановлением управятся. Разведка ведь, как говорится, доложила точно – он знал, когда начнется. Потому и армию всю перетряхнул – помнишь, как маршалов стали уничтожать? Буденного и Ворошилова оставил для символа, а прочих – в мясорубку. Кто выдержал – тех под Омск, кто предал, подписал на себя – тех, известное дело, под расстрел. На хер нужна такая армия. Тухачевский все признал, а считался главная надежда. Блюхер, остальные… Гамарник сам застрелился.

– А родню-то их за что было брать? – не выдержал Рогов. На его глазах людоедство обретало смысл и цель.

– А родня знала много, – усмехнулся старик. – Или догадывалась. А может, он думал: раз сами такие гнилые, так и родня гнилая… Он ведь жизнь им сохранил, только в ссылки да в лагеря отправил… А туда бы все и так пошли. Кроме тех, кто вынес. Выпускал он только такую гниль, что уж совсем ни на что не годилась: эти и сами бы померли.

– Это вам все в Омске рассказали? – спросил Рогов.

– Какое – в Омске… Сам с годами додумался. Окончательно убедился, когда памятник Неизвестному солдату открыли. С вечным огнем. Останки-то брали под Москвой, как раз где сибиряки сражались. Между прочим, двадцать восемь панфиловцев были тоже из смертников. Потому так долго и скрывали, что трое выжили. Я помню, только в шестьдесят пятом, кажется, возник вопрос: ежели все они погибли, кто же о подвиге-то рассказал? Вопрос, может, возникал и раньше, но рассекретили только тогда. Тут и дали слово этим троим. Ну, может, не все они были оттуда, из отфильтрованных, но Клочков – точно оттуда. Ты не знаешь разве, что его в тридцать девятом брали?

– Впервые слышу, – удивился Рогов.

– А ты проверь, проверь. Я даже недавно читал где-то… Ну под Омском, понятное дело, не знали этого ничего. Их ведь когда на фронт вывозили – то явно не всех, да и тайно. Так что хозяин мой ничего про их участие в войне не

слыхал. Они, мужики-то, сначала думали – на вредное производство или на опыты какие их прислали, но оказалось – они там стали жить своим вроде как колхозом. Переписываться им ни с кем, понятно, было нельзя. Доступа – никакого, охрана за версту не подпускает, район строго засекреченный. Я и сам тогда подумал, что не иначе как опыты ставят на них. В Москве, слава богу, разнос меня миновал, но историю я эту запомнил и на будущий год опять туда поехал. По своей инициативе. Поздно ты, Алексей Степаныч, говорит мне мужик, у которого я стоял. Распустили их. То ли выслужили они себе свободу, то ли больше не нужны. Один, говорит, ко мне зашел, заночевал, расспросил, что в мире делается. Информации у них там не было, понятное дело. Сам я его на подводе на станцию отвез, в поезд посадил… И охрану сняли. Не веришь, говорит, – сам сходи, погляди. И рассказал мне примерно, как до поселка добираться.

Как всегда, на самом интересном месте Кретов сделал паузу, долго возился с носогрейкой, сопел, пыхтел… За окном начинало смеркаться, пора было садиться в машину и возвращаться в Москву, но Рогов привык дослушивать стариковские рассказы до конца. Они завораживали его. Тем более что разговор был в тему.

– И вы пошли, дядь Леш? – спросил Рогов, выждав положенную паузу.

– Пошел, – кивнул Кретов. – Заблудился, долго ходил, но я в тайге ориентировался прилично – нашел. На совесть выстроено было. Да только пусто.

– Что, никаких следов?

– Никаких. Пустые дома как есть. Барачного типа, длинные, с крошечными оконцами. Внутри буржуйки ржавые. Электричества нет, проводов не подвели, – как уж они там жили, не представляю. Много странного я там видел, Слава. Плац не плац, а площадь – то ли для маршировки, то ли для собраний. Прудик выкопан вручную, как уж наполняли – не знаю, дождевой, что ли, водой… Стенды с картинками, которые видеть – бог не приведи.

– А что?

– Ой, не спрашивай. Рисунки какие-то, а на них – пытки, уроды… Лозунга ни одного. Ерунды этой, которой в городах полно, вроде «Слава труду» – близко не

было. Только один лозунг на барачной стене, но такой, что лучше бы не было.

Рогов затаил дыхание. Рассказывать Кретов умел.

– Красной краской, ровными буквами, аккуратно, знаешь, и чтобы издалека видно, выведено: «Дома никого нет».

Рогов засмеялся:

– Все ушли на фронт.

– Э нет. – Кретов погрозил пальцем. – Ты думаешь, это они перед уходом написали? Нет, брат, все не так просто. Лозунг-то старый был, краске лет уж десять. Это они себе напоминали о том, что их никто не ждет. Что та жизнь вся кончилась, вся за бортом. Отрезаны, для всего мира давно мертвы и заново родились. Всё – с нуля. И то сказать – какая им была бы прежняя жизнь после всего, что с ними творили? Теперь уж только – голый человек на голой земле… Передовой отряд строителей коммунизма…

– С чего же их распустили?

– Этого я знать не могу. Очень ты многого хочешь, голубчик. Я так думаю, действительно выслужили они чем-то себе свободу. А может, просто разочаровался он в этой затее – больно мало их было… Но тогда, думаю, брать перестали бы. Скорей всего, эти просто свое дело сделали, вот их и пожалели. А новых набрали. Да только место не высвободилось – они все вернулись.

– Когда?

– Кто когда. Это уж мне тот самый мужик отписал, у которого я гостил. Я ему специально адрес оставил: узнаешь, мол, что новое – отпиши. Они в Сибири не так были запуганы, как в России. Куда их сошлешь? У них и так на тысячу верст тайга… Так что он скрывать не стал, отписал мне.

– И что отписал?

– Я в пятьдесят первом году письмо от него получил, может, и цело где. Писал, что еще в сорок восьмом первые стали возвращаться, тоже через деревню прошли. Все седые, серые, рожи – страшней не придумаешь. Не разговаривают почти, а между собой все больше на полупонятном каком-то языке, вроде лая. Может, и вправду там над ними эксперименты какие-то ставили?

– Могли, – в задумчивости сказал Рогов.

– Больше я туда не ездил. Долго добираться, да и страшно, знаешь, как-то. Но поселок тот пустой до сих пор передо мной, как вчера, стоит. И знаешь, что самое страшное?

– Куда уж страшней…

– Там, на плацу этом, стояло несколько скамей, как для зрителей. Я боялся отчего-то на них присесть, но на одной видел надпись. И запомнил. Да и как не запомнить – стихи…

– Ну! – почти крикнул Рогов.

– Дуют четыре ветра, волнуются семь морей…

– …все неизменно в мире, кроме души моей, – закончил Рогов, сразу все поняв.

– Ты откуда знаешь? – Кретов посмотрел на него почти в испуге.

Вспоминая потом этот вечер, Рогов думал, что старику было чего испугаться: в безлюдном поселке, без света, которого они не зажигали, в отблесках догорающей печки услышать от мальчишки стихи из своего давнего кошмара! Сам он непременно сошел бы с ума, но Кретов был старик крепкий. Рогов рассказал ему историю о Сутормине.

– Может быть, может быть… – Старик покачал головой. – Больно похоже… Но не забывай – эти стихи не обязательно написал тот офицер. Их просто могли знать два человека…

– Могли, – кивнул Рогов. – Но я в такие совпадения не верю, дядь Леш.

– А что, веришь в другие совпадения?

– Да. Видите ли, я несколько раз слышал истории о том, как расстрелянные возвращались. Да вы и сами мне говорили, что формула «десять лет без права переписки» могла означать вполне реальные десять лет на секретном заводе, если речь шла о ценном специалисте. Так что, похоже, вы и впрямь набрели на какой-то секретный отряд…

– Да не набрел, – вздохнул Кретов. – Я же только пустое место видел…

– Может, скажете, дядь Леша?

– Чего скажу?

– Название поселка.

– Да что ты, милый, какой же там теперь поселок… Той деревни давно нет. Там город теперь, Омск-то разросся… Я специально проверял, хоть и не ездил. И тайги там давно нет. Так что если и остались где-то те выжившие или их потомки – то явно ушли от людей гораздо дальше. Их сейчас не там искать надо…

– Лукавите, дядь Леш, – сказал Рогов уверенно. – Я по голосу слышу.

– Да какой смысл мне тебе врать? Был бы молодой, я сам бы съездил. Да и тебе это нужно – ты историк, сразу книгу бы написал…

– Так скажите!

– Да что я тебе скажу, если нет давно никакого поселка? Город там, говорю тебе – город.

Рогов посмотрел на часы. Дома мать, вероятно, уже тревожилась – он обещал вернуться к шести, а засиделся у Кретова до половины седьмого, и ехать ему предстояло по темной дороге не меньше двух часов. Гнать после двухсот граммов водки, пусть и настоянной на чесноке, он себе не разрешал.

– Еще-то приедешь? – спросил Кретов, как показалось Рогову, с надеждой.

– Да в этом году уже вряд ли, дядя Леша. Может, забрать вас в Москву?

– Нет, я до ноября побуду. Чего мне в Москве делать? Скука… Здесь я один – и никого кругом, а там я один – и вокруг люди. Напоминают. Нет, поживу здесь… Летом приезжай!

Только в машине Рогов протрезвел и понял, что старик, скорее всего, не врал. Услышав стихи, он действительно схватился за стену, словно боялся не устоять на ногах. Вероятно, он и впрямь наткнулся на поселение, в котором держали репрессированных. Впрочем, это еще не было окончательным доказательством кретовской версии о том, что под Омск свозили отфильтрованных и ни в чем не признавшихся. Рогов почти верил, но ему не хватало последнего аргумента – и он этот аргумент получил. Хорошая версия всегда притягивает подтверждения.

В очередном альманахе «Былое» сотрудник Омского краеведческого музея опубликовал очерк о местном городском сумасшедшем, чье безумие давно не вызывало сомнений, но при общей деградации личности он отличался поразительной памятью на эпизоды Серебряного века и стихи тогдашних поэтов. Умер он в шестидесятом в местной психиатрической больнице, а до этого десять лет скитался по Омску, как юродивый. Богомольные старушки подкармливали его и считали провидцем. Он не называл своего имени, но утверждал, что знал Блока, видел Есенина, слушал Маяковского. Потом, говорил он, его сослали. Но Омск не был местом ссылки, и до пятидесятого года этого юродивого никто здесь не видел. С особенным упорством он повторял, что умер и живет теперь вторую жизнь, после смерти, но об этом ему свидетельствовать нельзя. Несколько приведенных в очерке рассказов юродивого о Блоке, с точным цитированием его реплик и стихов, выглядели поразительно достоверно – Рогов, хорошо зная Серебряный век, не сомневался, что перед ним один из жителей странного поселка.

– Они хотели, чтобы я их оговорил. Всех оговорил – и живых, и мертвых. И Александра Александровича, – говорил юродивый. – Но я ничего им не сказал. Ничего не сказал. Дудки!

Это явно был один из тех, ничего не подписавших и никого не оговоривших. Бежать ему было некуда – он лишился памяти и рассудка и жил в Омске

подаянием. Но в том, что сумасшедший видел и слышал живого Блока, не было сомнений. Именно Блок мог сказать в десятом году: «Все мы не те, за кого себя выдаем, и те, которые понимают это, лгут вдесятеро больше. А тех, кто не лжет, вообще следовало убить при рождении».

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/bykov_dmitriy/opravdanie

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить